

ПАЦАНА НЕ КОСНУЛОСЬ

Сила у него была ровно в том,
от чего он отказывался.

18+

Олег Октябренок

Пацана не коснулось

«Автор»

2026

Октябренок О.

Пацана не коснулось / О. Октябренок — «Автор», 2026

СССР закончился. Его магия осталась. Лето 1992 года. В Черноярске чудеса давно стали частью обычной жизни. Здесь Фарт прячется в трёх полосках «Адидаса», наколках, кожанках и крепком слове. Шестнадцатилетний Жека Семёнов единственный на районе, у кого Фарта нет совсем. Зато пока у него во рту горит сигарета, к нему нельзя прикоснуться и на него не действуют чужие печати. Сам Жека в это время тоже ничего не может сделать. Когда люди в белых рубашках начинают интересоваться архивом покойного инженера Громова, Жека вмешивается и оказывается втянут в историю, которая касается уже не только Сани и её семьи. Кто то собирает печати по всему району. Кто то слишком много знает о старых правилах. И похоже, вместе с СССР исчезло далеко не всё.

© Октябренок О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РАЙОН	5
Глава 1. Сигареты кончились	6
Глава 2. Двор	9
Глава 3. Пятая линия	12
Глава 4. Семки	15
Глава 5. ПТУ номер тринадцать	18
Глава 6. Второй бокс	21
Глава 7. Кружок	25
Глава 8. Кухня	28
Глава 9. Горн	32
Глава 10. Союзпечать	36
Глава 11. Поставка	40
Глава 12. Кубинская сигара	43
Глава 13. Седьмой бокс	46
Глава 14. Учёт	50
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СКУПКА	53
Глава 15. Цепочка	54
Глава 16. Наружка	58
Глава 17. Ракета	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Олег Октябренок
Пацана не коснулось
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РАЙОН

Глава 1. Сигареты кончились

Первое, что надо знать про наш район: чудо тут держится три дня, а на четвёртый становится бытом. В январе у Витьки из сорок второй загорелась рука, и полдвора сбежалось смотреть. В феврале Витьку уже посылали разжигать мангал.

Я сидел на лавке у второго подъезда и всё это видел. Место было с обзором.

Жека Семёнов проснулся в тот вторник от того, что во рту было пусто.

Он полежал, пересчитал на потолке трещины, которые пересчитывал года четыре, и признал очевидное. В пачке на подоконнике оставалась одна, и он извёл её вчера у гаражей, стоя, пока Толян в третий раз подходил к рассказу про свою фамилию.

Мать ушла в шесть. На кухне под сахарницей лежала записка и двести рублей: «Хлеб. Ключи не теряй». Почерк у неё был лаборантский, с наклоном, каким пишут в журнале дежурств.

Жека сунул деньги в карман, поглядел на сахарницу и подумал, что двести рублей — это хлеб. Просто хлеб, и всё. Ещё в мае на них можно было думать.

Двор в семь утра стоял пустой и белый от жары. Ковёр бабы Зины висел на балконе третьего этажа и слегка шевелился, хотя ветра не было. Ковёр у неё работал вместо телефона: если что-то случилось в первом подъезде, к обеду об этом знал пятый.

— Женя, — сказал ковёр голосом бабы Зины. — У Громовых ночью форточку открывали.

— Слышал, — соврал Жека.

— Ты не слышал. Ты только что вышел.

С ковром спорить было бесполезно, и Жека пошёл со двора.

Улица Энергетиков в то лето выглядела так: слева пятиэтажки, справа забор ГРЭС, между ними асфальт, положенный при Брежневе и с тех пор ни разу не потревоженный. На заборе кто-то написал белым «СССР», а кто-то другой приписал ниже, помельче: «а чё сразу я». Обе надписи держались с зимы.

У остановки «Пятая линия» стояла бочка с квасом, и очередь к ней уже собралась человек на двенадцать. Люди стояли молча, с бидонами и трёхлитровыми банками, и никто в очереди не колдовал. Колдовать в очереди считалось последним делом. За полгода двор успел выработать по этому поводу целую систему приличий, о которой в газетах ничего не писали.

Магазин номер семь открывался в восемь. Жека пришёл в семь сорок и сел на бордюр у крыльца.

Через дорогу на столбе висело объявление, отпечатанное на машинке: «Печати бытовые. От тараканов, от очереди, от свекрови. Ларёк „Союзпечать“, Пятая линия. Накладные в порядке». Слово «накладные» кто-то обвёл шариковой ручкой два раза.

В восемь ноль три дядя Гена открыл дверь изнутри и сказал в пространство: «Заходим по одному, не в клуб».

Магазин номер семь был длинный, тёмный и пах хозяйственным мылом, которого там не продавали лет пятнадцать. Слева стоял холодильник «Ока» с надписью «НЕ РАБОТАЕТ», приклеенной на скотч ещё при советской власти. Справа тянулся прилавок, а за прилавком, на витрине, лежало то, ради чего Жека сюда шёл.

Блок «Космоса». Десять пачек, синие с белым, с ракетой, летящей куда-то вверх и вправо.

Марка была старая, союзная, и брали её плохо: рядом лежали турецкие «Магна» и «Бонд» в целлофане, и молодёжь тянулась к целлофану. Дядя Гена держал «Космос» из упрямства. Он вообще многое держал из упрямства, в том числе весь магазин.

Про цену надо сказать сразу, потому что дальше она будет считаться в минутах.

«Космос» на область в последний раз отгружали в марте. Потом фабрика перестала, и никто не объяснил почему: то ли табак, то ли договор, то ли просто некому стало отгружать. Что успело разойтись по магазинам — то и осталось на всю область, и цену на это дядя Гена держал не по прейскуранту, а по тому, что второй такой партии не будет. Турецкие в целлофане возили каждую неделю, и стоили они вчетверо дешевле.

За что и брали турецкие. И зря.

— Здоров, — сказал Жека.

— Здоров, — сказал дядя Гена. — Хлеб привезут к десяти.

— Я не за хлебом.

— Я догадался. — Дядя Гена посмотрел на витрину, потом на Жеку, потом опять на витрину. — Девяносто пачка.

Жека посчитал. Двести рублей. Две пачки и двадцать рублей сдачи, которые уже ничего не значили. И хлеб, за которым его послали.

В магазине, кроме них, стояли двое. Женщина в халате поверх платья брала соль, сразу три пачки, как берут при слухах. И дядя Коля из шестнадцатой квартиры, который в это время суток стоял везде.

Жека положил двести рублей на прилавок, аккуратно, придавив ладонью, чтобы не сдуло вентилятором.

Потом протянул руку через прилавок и взял с витрины две пачки.

Та, что брала соль, перестала считать мелочь.

— Э, — сказал дядя Коля. — Ты чего это.

— Две пачки, — сказал Жека. — Не блок.

Он говорил спокойно, глядя дяде Коле в лоб. Одну пачку он сунул в карман, вторую вскрыл, вытянул сигарету и взял её в зубы. Спички у него были свои, и он чиркнул, прикрыв огонёк ладонью, хотя в магазине никакого сквозняка не было. Прикурил.

Не затынулся.

Дядя Коля был мужик крупный, работал на элеваторе и в спорных вопросах привык обходиться без слов. Он шагнул и взял Жеку за плечо.

Точнее, он повёл рукой к плечу, и рука дошла до плеча и там кончилась.

Ладонь остановилась, будто уперлась в притолоку, которой не было. Дядя Коля посмотрел на свою ладонь так, как смотрят на весы в мясном отделе, когда стрелка показывает не то. Потом попробовал ещё раз, уже двумя руками и от души.

Жека стоял. Сигарета у него в зубах тлела ровно, крошечным оранжевым кружком, и дым шёл вверх, никем не потревоженный.

— Ты чего делаешь-то, — сказал дядя Коля.

— Ничего, — сказал Жека. — В том и дело.

Женщина в халате взяла соль и вышла, не дожидаясь сдачи. Это в нашем районе означало высшую степень тревоги.

Дядя Гена стоял за прилавком и смотрел без выражения. Он видел за свою жизнь достаточно, чтобы не подпрыгивать. Потом он взял двести рублей, посмотрел на них, положил в кассу и выбил чек. Чек он оторвал и оставил на прилавке, придавив гирькой.

— Хлеб к десяти, — сказал он.

Жека кивнул и пошёл к двери. Дядя Коля постоял, потрогал воздух перед собой ещё раз, уже без надежды, и сказал в спину то, что говорят все:

— А если бы я с ножом?

— Тогда бы тоже, — сказал Жека, не оборачиваясь.

Это была правда, и от неё легче не становилось.

На крыльце он сощурился. Солнце уже поднялось над забором ГРЭС, и асфальт начинал плыть. Жека посмотрел на сигарету у себя в зубах.

Она сгорела на треть.

Тут надо объяснить, потому что дальше без этого нельзя.

У Жеки Семёнова не было Фарта. Совсем. Ни черета. На весь район он был такой один, и Профессор потом составил по этому поводу целую тетрадь, из которой ничего не следовало.

А было у него другое. Пока во рту тлела сигарета, Жеку нельзя было тронуть. Ни рукой, ни кастетом, ни печатью. Ничем.

Держалось это ровно столько, сколько горела сигарета. «Космос» горел пять минут, если не дёргаться. Турецкий «Бонд» — четыре, потому что бумага у турок тонкая, и вообще с турецкими сигаретами у него не сложилось с первого раза.

И работало это при одном условии, о котором на районе знали трое, а понимали двое.

Жека не курил.

Он брал сигарету в зубы, прикуривал и давал ей истлеть. Ни разу за всё лето он не затынулся. Ни разу за ту зиму. Он вообще не знал, какой у «Космоса» вкус, и не собирался узнавать, потому что подозревал — и правильно подозревал, — что в тот день, когда он затынется, всё кончится навсегда.

Сила у него была ровно в том, от чего он отказывался. Такая вот вышла арифметика.

И был ещё один пункт, который Жеку злил больше всего.

Пока горит сигарета, его нельзя тронуть. И он никого не может тронуть тоже. Пацан первой ступени не проводит удар: Фарт в нём глохнет на выходе. А бить кулаком того, кого держит печать, всё равно что бить кулаком по расписанию электричек. Расписание от этого не меняется.

Пять минут абсолютной обороны. И ноль возможности что-нибудь сделать.

Жека дошёл до угла, встал в тень и постоял, глядя, как оранжевый кружок подбирается к фильтру. Когда осталось на два пальца, он вынул сигарету, обтёр фильтр о джинсы и аккуратно затушил о подошву. Окурок положил в спичечный коробок — на потом, если совсем прижмёт.

Двадцать рублей сдачи остались в кассе у дяди Гены. Хлеба он не купил.

Жека пошёл обратно во двор, соображая, что скажет матери, и по дороге сообразил только одно: правду говорить нельзя, потому что правда была короткая и никуда не годилась.

Я в это время всё ещё сидел на лавке. Мимо меня он прошёл, глядя в асфальт, и не поздоровался.

Глава 2. Двор

Гаражи у нас стояли за домом двадцать четыре, в два ряда, и назывались гаражами по привычке. Машина была в третьем боксе у Пантелеева и в девятом у зубного. В остальных держали банки, лыжи, рассаду и то, о чём не спрашивают.

Между рядами получался проход метров на сорок, и вот там жил весь район младше двадцати.

Толян сидел на перевёрнутом ящике из-под молока и чистил зубной щёткой рукав олимпийки. Олимпийка была синяя, называлась «Адидас» на груди, а полоски на рукаве шли криво, и вторая уходила к подмышке.

— Здоров, — сказал Жека.

— Здоров. Смотри. — Толян поднял рукав на свет. — Две полоски. Видишь? Третьей нет вообще.

— И чего?

— Того. — Толян говорил медленно и обстоятельно, как человек, который уже всё обдумал и теперь делится результатом. — Полоска — это контур. Три полоски — три контура: удар, слово, сглаз. Так положено. А тут две, и обе кривые. Значит, у меня из трёх контуров работают удар и слово, а на сглаз я голый. Понимаешь, что это значит?

— Что тебя обманули на рынке.

— Что меня обманули на рынке, — согласился Толян. — Дальше слушай. Ударить я всё равно не могу, потому что первая ступень. И говорить я не умею. Получается, у меня работают ровно те два контура, которыми я не пользуюсь, а третий не нашили вовсе. Вот это меня и гнетёт.

Он положил олимпийку на ящик и посмотрел на неё с уважением.

— Зато сидит хорошо.

Толян был здоровый. По габаритам ему давали четвёртую ступень, и незнакомые на рынке уступали дорогу, а потом узнавали, что он такой же пацан первой, и начинали к нему хорошо относиться. Он этим не пользовался. Он вообще ничем не пользовался и мечтал только об одном — о кожанке. Кожанка — броня четвёртой, и до неё ему было как до Москвы пешком, и он про это знал.

— Слушай, — сказал Толян. — Я тебе не рассказывал, какая у меня фамилия?

— Рассказывал.

— Не рассказывал. Ты каждый раз так говоришь, а я не рассказывал. У меня фамилия хорошая. Подходящая. Вот прям под меня, понимаешь, как будто сначала меня посмотрели, а потом уже записали.

— Ну и какая?

Толян открыл рот.

— Тихомиров идёт, — сказал кто-то от угла.

Профессор шёл вдоль гаражей со скоростью человека, который читает на ходу. В руках у него была общая тетрадь в клеточку, под мышкой вторая, и ещё одна торчала из сумки. Очки он поправлял мизинцем, потому что остальные пальцы были заняты.

— Господа, — сказал Профессор.

Он всех звал господами с января, когда решил, что так теперь правильно, и никто его не поправил, потому что было лень.

— Семёнов, ты мне нужен. Дай руку.

Жека дал. Профессор взял его запястье двумя пальцами, посмотрел на часы и постоял так секунд двадцать, шевеля губами.

— Ноль, — сказал он. — Опять ноль. Ты понимаешь, что это статистически невозможно?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь. — Профессор сел на ящик рядом с Толяном и раскрыл тетрадь. — Фарт есть у всех. Строго говоря, Фарт есть даже у бабы Зины, и в количестве, которое меня пугает. У новорождённых он есть. У покойников он держится сорок дней, и это единственное, в чём попы оказались правы, что мне до сих пор неприятно. А у тебя ноль. При прочих равных ты должен быть мёртвый уже полгода.

— Я живой.

— Я вижу, и это меня и раздражает.

Профессор перевернул страницу. На развороте у него был график, нарисованный по линейке, и половина клеточек была закрашена карандашом.

— Двадцать три замера с февраля. Ровная линия по нулю. — Он захлопнул тетрадь. — И при этом у тебя есть печать, которой нет ни у кого, и которая работает без Фарта. Я не могу это объяснить, а я много чего могу объяснить.

— Может, ты не всё знаешь, — сказал Толян доброжелательно.

— Это, Анатолий, я знаю про себя лучше всех.

Тут от четвёртого подъезда пришла новость.

Пришла она в виде Егорки Пряхина из шестого подъезда, который влетел в проход между гаражами, затормозил подошвами и сообщил, дыша через раз:

— У Громовых!

— Форточку открывали, — сказал Жека. — Знаю.

— Не форточку! Бумаги!

Профессор снял очки.

Про Громовых на районе знали столько, сколько положено знать про соседей, и ни на слово больше. Дед, Пётр Матвеевич, работал в конторе инженером. Какая контора — не уточнялось, а не уточнялось потому, что за тридцать лет никто ни разу не сказал вслух её название, и все привыкли, что она просто контора. Умер он в восемьдесят девятом. Пенсию за ним оставили министерскую, и на эту пенсию жила теперь вся семья, и в девяносто втором это выглядело уже смешно, потому что министерская пенсия к июлю стоила примерно как два ведра картошки.

А внучка у него была Саня.

— И что бумаги, — сказал Профессор ровно.

— Перерыли. Всё перерыли. Тётя Валя говорит, чертежи какие-то валялись, схемы. И шкаф отодвинут.

— Взяли что?

— В том и дело. — Егорка перевёл дух. — Ничего не взяли. Телевизор стоит. Деньги в серванте лежат. Только бумаги на полу.

Профессор надел очки обратно и записал что-то в тетрадь, не глядя в неё.

— Плохо, — сказал он.

— Почему плохо-то? — спросил Толян. — Ничего же не взяли.

— Потому, Анатолий, что вор, который ничего не взял, унёс главное. Он унёс то, что посмотрел.

Толян подумал над этим и покивал.

К десяти Жека пошёл за хлебом.

Хлеб привезли в двадцать минут одиннадцатого, и очередь стояла до угла. Жека отстоял, взял буханку и полбуханки, и когда расплачивался, дядя Гена молча выложил на прилавок двадцать рублей сдачи — те самые, со вторника, с утра.

— Не надо, — сказал Жека.

— Надо. — Дядя Гена придвинул монеты пальцем. — У меня касса.

Он ушёл в подсобку за мелочью, и дверь осталась приоткрытой. Жека стоял и смотрел, потому что ничего другого делать было нельзя, а стоять в чужую подсобку смотреть у нас никогда не считалось преступлением.

В подсобке было темно, окошко под потолком, ящики. И на подоконнике, придавленная гирькой от весов, лежала тысяча.

Одной бумажкой. Новая, хрустящая, из тех, что в июле только пошли.

Она лежала на самом виду, в подсобке магазина, где ночью бывает кто угодно, и лежала явно не первый день, потому что уголок у неё выгорел на солнце.

Дядя Гена вернулся, увидел, куда Жека смотрит, и закрыл дверь плечом.

— Хлеб не роняй, — сказал он.

Во двор Жека вернулся к одиннадцати. Он поднялся на свой третий, положил хлеб на стол, поставил чайник и не стал его зажигать.

Потом подошёл к окну.

Дом двадцать шесть, где жили Громы, стоял торцом, и от Жекиного окна был виден весь их подъезд, скамейка и три метра асфальта перед дверью.

На скамейке сидел человек.

Молодой, лет двадцати, в белой рубашке с коротким рукавом, при галстук. В такую жару галстук на нашем районе носили двое: покойники и работники загса.

Он сидел прямо, положив ладони на колени, лицом к подъезду. Ни книжки, ни сигареты, ни интереса к чему-нибудь ещё в радиусе двора.

Жека постоял у окна минут десять. Человек за это время не поменял позу ни разу.

Про этого парня у нас потом сложилось много всего, и почти всё было неправдой.

Глава 3. Пятая линия

Остановка «Пятая линия» стояла на отшибе, между забором ГРЭС и пустырьём, и автобус к ней ходил два раза в час по расписанию и один раз в час по факту. Павильон был бетонный, с крышей-козырьком, и на стене изнутри висел эмалированный щит с надписью «Берегись поезда», хотя поезда там не было с семидесятого года.

Жека пришёл туда в третьем часу, потому что дома делать было нечего, а на лавке у подъезда сидел я, и разговаривать со мной он в тот день не хотел.

Саню он увидел раньше, чем троих.

Она шла со стороны рынка, быстро, с двумя сумками, и по тому, как она шла, было понятно, что сумки тяжёлые и что она скорее оторвёт себе руки, чем поставит их на землю передохнуть.

Троих Жека заметил, когда они отделились от павильона.

Двое были мелкие, лет по одиннадцать, стриженные, в одинаковых серых рубашках, застёгнутых на верхнюю пуговицу в тридцатиградусную жару. У каждого на груди сидела звёздочка. Тяжёлая, с алой эмалью, из тех, каких в «Детском мире» отродясь не держали, и эмаль эта на солнце втягивала свет в себя вместо того, чтобы его отдавать.

Третий был постарше, лет восемнадцать. Белая рубашка, брюки, портфель. Тот самый, что утром сидел на скамейке у подъезда двадцать шестого дома, или другой такой же — у них это было устроено так, что различить их можно было только со второго раза.

— Александра Петровна, — сказал третий.

Саня остановилась.

Никто на районе не звал её Александрой Петровной. Мать звала Сашкой, двор звал Саней, а на рынке звали «девушка, отойдите от весов».

— Чего надо, — сказала она.

— Уделите три минуты. — Комсомолец говорил ровно, с одинаковым нажимом на все слова, и было слышно, что фразы эти он выучил и повторяет не в первый раз за день. — Речь идёт о вашем дедушке, Громе Петре Матвеевиче. У нас есть основания полагать, что часть его личного архива представляет общественный интерес.

— Дедушка умер.

— Мы знаем, и мы скорбим. — Он сказал это так, что было ясно: он и правда скорбел, честно, отработанно и по расписанию. — Именно поэтому архив следует передать в надёжные руки, а не оставлять его в квартире, где живут женщины и никто не дежурит.

— В квартире, где живут женщины, — повторила Саня.

— Вы неверно поняли интонацию.

— Я верно поняла. — Она поставила сумки. Всё-таки поставила. — Слышь, ты. Отойди от меня на два шага, и мы разойдёмся, и никто не пострадает. Это я тебе по-хорошему говорю, зайчик.

Комсомолец повернул голову, и один из мелких сделал шаг вперёд и взялся пальцами за звёздочку.

Дальше вот что.

Он повернул её. Как выключатель, на четверть оборота. И из середины звезды пошёл луч.

Светить он не светил. Тонкий, красноватый, толщиной в спицу, он лёг Сане на плечо и там остался, и в воздухе от него не было ни следа, ни дыма, только эта одна ровная линия от звёздочки к плечу, как если бы кто-то натянул между ними нитку.

Саня дёрнула плечом. Нитка не порвалась.

— Александра Петровна, — сказал комсомолец. — Октябрёнок первой ступени не может причинить вам вреда. Он вас просто держит на учёте. Это административная процедура.

Саня была третьей ступени. На районе её ставили выше половины взрослых, и адидас у неё был чёрный, настоящий, дедовский подарок из восемьдесят восьмого, и три полоски на нём были все три, без фломастера.

Она развернулась и провела рукой сверху вниз, коротко, от плеча. Это был «С разворота» — расклад, который у нас показывали пацанам как первый серьёзный, и от него взрослый мужик садился на асфальт.

Воздух между ней и мелким прогнулся и пошёл рябью, как над трубой котельной.

И остановился, не дойдя.

Луч держал. Мелкий стоял, взявшись за звёздочку, красный, губы поджаты, и его самого шатало от натуги, но линия от эмали к её плечу не сдвинулась ни на волос.

— Стаж, — сказал комсомолец спокойно. — У него полтора года. У вас, простите, полгода. Арифметика.

Второй мелкий тоже взялся за свою звезду.

Тут Жека и вышел из павильона.

Он вышел просто потому, что стоял ближе всех, и потому, что ноги пошли раньше головы, и потом он сам не мог внятно объяснить, чего он рассчитывал добиться. Пацан первой ступени в такой ситуации не может ровным счётом ничего.

Он достал пачку. Вытянул сигарету, взял в зубы, чиркнул спичкой и прикурил, прикрыв огонёк ладонью.

И встал между Саней и мелкими.

— Молодой человек, — сказал комсомолец. — Отойдите. Вас это не касается.

— Не касается, — согласился Жека.

Он стоял и молчал. Сигарета в зубах у него шла своим ходом.

Луч упёрся ему в грудь и на этом кончился. Он дошёл до Жеки и там перестал существовать, как перестаёт существовать очередь, когда закрывают окошко.

Мелкий крутанул звёздочку ещё на четверть. Ничего.

Второй мелкий пустил свой луч. Тоже ничего.

Комсомолец поставил портфель на асфальт. Впервые за весь разговор Жека перестал быть для него пунктом и сделался человеком, и это было заметно по лицу.

— Фамилия.

— Семёнов.

— Семёнов, вы понимаете, что вы сейчас препятствуете?

— Понимаю.

— И что вы намерены делать дальше?

— Стоять, — сказал Жека.

Вот это, если хотите знать, и есть весь его боевой арсенал за то лето. Он стоял. Больше он ничего не умел.

Комсомолец подумал. Он честно взвесил ситуацию, как его учили: трое на двоих, из них двое на учёте, объект недоступен, время работает на кого угодно. Автобус к «Пятой линии» шёл в пятнадцать сорок и в шестнадцать десять, и оба раза мимо.

— Вы, вероятно, полагаете, что это надолго, — сказал он.

— Я ничего не полагаю.

— У вас сигарета.

— Есть такое.

— Она кончится.

Жека промолчал, потому что комсомолец был прав, и оба они это знали, и Саня за спиной у Жеки тоже это знала, и от этого у неё сделалось лицо, которое я потом видел у неё много раз и всегда по одному и тому же поводу.

Прошло минуты две.

Комсомолец поднял портфель.

— Сворачиваемся, — сказал он мелким.

Луч убрали. Мелкие отпустили звёздочки и сразу стали похожи на детей, которых во дворе полно, и один из них тут же зачесался под воротником, потому что рубашка в такую жару — это рубашка.

— Александра Петровна. — Комсомолец слегка наклонил голову. — Мы придём ещё. Не в порядке угрозы, а в порядке уведомления. Вопрос государственный, а государство не обижается.

Он пошёл к дороге. Мелкие потянулись следом. Метров через десять комсомолец обернулся.

— Семёнов. Вы ведь понимаете, что вы сейчас никого не защитили. Вы просто отложили.

— Понимаю, — сказал Жека.

Когда они скрылись за поворотом, он вынул сигарету из рта. Она догорела до самого фильтра, и последние секунды он держал её на честном слове.

Саня подняла сумки.

— Ты чего сделал-то? — спросила она.

— Ничего.

— Вот и я про то. — Она перехватила ручки поудобнее. — Ты хоть понял, что там было? Он на тебе учёт открыл. Не на мне. На тебе.

— Как это?

— А вот так это, солнышко. Луч у него не пропал. Луч у него в тебя ушёл. — Она посмотрела на него, и на секунду в лице у неё было что-то, кроме злости. — Теперь они знают, где ты живёшь, и знают, чем ты дышишь. Вернее, чем ты не дышишь.

Она пошла к дому. Через десять шагов остановилась.

— Спасибо, — сказала она в сторону забора ГРЭС, чтобы никто не подумал, будто это кому-то адресовано.

И пошла дальше.

Автобус в тот день так и не приехал, и я об этом узнал ещё до вечера, потому что ковёр у бабы Зины работал без выходных.

Глава 4. Семки

Про семки надо сказать отдельно, потому что без этого дальше половина будет непонятна.

Семки восстанавливают черет. Черет — это единица Фарта, и мерили его тогда кто во что горазд, пока Профессор не объявил, что единица называется черет, и все согласились, потому что слово было готовое и лежало под рукой. Кулёк с рынка, гранёный стакан, отсыпанный в кулёк из газеты, — это примерно полтора черета. Значит, чтобы восстановиться после серьёзного расклада, надо съесть три стакана, а после «Приседа Неотвратимости» — семь, и к седьмому у тебя во рту уже наждак.

Отсюда всё и пошло. Отсюда шелуха на всех лестничных клетках нашего района с января по апрель. Отсюда объявления в подъездах: «Товарищи! Не лужать!» — и приписка карандашом: «А чем воевать, Клавдия Ивановна?»

К июлю стакан семок стоил двенадцать рублей у бабки Тони и десять у бабки Тони же, если брать после шести вечера, когда она собиралась домой.

Жека покупал их, как покупают гвозди: без всякого отношения к себе.

Он взял два стакана в среду вечером, у бабки Тони на углу, и попросил ссыпать в один кулёк. Бабка Тоня ссыпала, свернула газету аккуратным фунтиком и сказала:

— На двоих берёшь?

— Ага.

— На неё?

Жека расплатился и ушёл, а бабка Тоня осталась при своём мнении, и мнение это, разумеется, к утру было у бабы Зины.

Саня нашлась у гаражей, где сидела на бетонном блоке и смотрела в сторону ГРЭС. Труба на фоне неба дымилась ровно, без выходных, и была единственной вещью на районе, которая работала как раньше.

Жека сел на соседний блок, оставив между ними полтора метра, потому что полтора метра — это была дистанция, на которой Саня разговаривала.

Он положил кулёк на её блок и подвинул.

Саня посмотрела на кулёк.

— Это чего?

— Семки.

— Я вижу, что семки. Я спрашиваю, это чего.

— Это семки, — сказал Жека.

Она взяла кулёк, развернула край, посмотрела внутрь, свернула обратно и положила рядом с собой.

— Ты понимаешь, что это выглядит?

— Не понимаю.

— Вот и хорошо. — Она развернула кулёк обратно. — Спасибо.

Уши у неё покраснели. Лицо у Сани держалось при любых обстоятельствах и в любую погоду, с лицом был полный порядок. Уши подводили: сначала мочки, потом верхний край, и всегда раньше, чем она успевала что-нибудь соврать. На районе это знали двое: я и Толян, и Толян никому не говорил, потому что Толян вообще никому ничего не говорил.

Некоторое время они лужали молча.

— Слышь, — сказала Саня. — Ты вчера дурак был.

— Ладно.

— Я не в смысле обидеть. Я в смысле объяснить. — Она сплюнула шелуху под ноги, точно, между кроссовками. — Смотри. Ступень первая: ты пацан. Обороняться можешь, бить не можешь. Вообще. Совсем. Ступень вторая — зэк, наколки, ходка. Третья — вот это, — она

щёлкнула пальцем по полоске на бедре, — расклады. Четвёртая — браток, кожанка, крыша, голда. Пятая — вор, корона, слово равно закон. Дошло?

— Дошло.

— Теперь считаем. У меня третья. У тебя первая. Против меня их вчера было трое, и я не вывезла. Что мог сделать ты?

— Ничего.

— Правильно. Ничего. — Она взяла ещё горсть. — А теперь скажи мне, солнышко, почему они ушли.

Жека промолчал.

— Вот и я не знаю, — сказала Саня. — И вот это меня и бесит.

Она сидела и лузгала, и черет у неё шёл обратно, и по её лицу это было видно так же, как видно по человеку, что он поел горячего.

— У тебя же ноль, — сказала она.

— Ноль.

— Тогда тебе от семок толку никакого.

— Никакого.

— И ты их всё равно ешь.

— Они вкусные, — сказал Жека.

Саня посмотрела на него сбоку и ничего не ответила, и я думаю, что именно в тот вечер у неё в голове что-то стронулось, хотя ей понадобилось ещё месяца три, чтобы это признать.

— Про деда спрашивали, — сказала она потом.

— Слышал.

— Слышал он. Ты видел. Это разное. — Она сгребла шелуху с колена. — Дед был инженер. В конторе. Я тебе честно говорю: я не знаю, в какой. Я его спрашивала лет в восемь, он сказал: «Считаю, Санька». Я говорю: чего считаешь. Он говорит: сколько чего кому положено.

— И всё?

— И всё. Тридцать лет считал, сколько чего кому положено, потом умер, и нам осталась пенсия и сервант. — Она помолчала. — И бумаги.

— Много бумаг?

— Три папки на антресолях и коробка под кроватью у матери. Я в них не лазила, потому что чертежи, а я в чертежах не понимаю ничего.

Жека подумал.

— А они, получается, понимают.

— Они, получается, понимают, — сказала Саня.

Труба на ГРЭС дымила. Где-то в третьем подъезде включили «Богатые тоже плачут», и включили громко, потому что телевизор был у всех один и стоял у всех в одной и той же комнате, и в двадцать минут восьмого весь наш район смотрел одно и то же.

— Слушай. — Саня повернулась. — А как оно у тебя вообще?

— Что как.

— Ну вот это твоё. Как оно работает. Толян говорит, ты не куришь.

— Не курю.

— А сигарета?

— А сигарета горит.

Саня нахмурилась.

— И всё?

— И всё, — сказал Жека. — Пока горит, меня нельзя тронуть. Пять минут. Потом можно.

— А если две сразу?

— Пробовал. Всё равно пять.

— А если от одной прикурить другую?

— Пробовал. Работает.

— Так это же тогда, — Саня подняла палец, — это же тогда сколько хочешь!

— Пока пачка не кончится, — сказал Жека.

И вот тут она поняла.

Она сидела с поднятым пальцем ещё секунды две, потом опустила его и поглядела на Жеку уже совсем иначе. Человеку посчитали, сколько у него осталось, и цифру назвали вслух при нём.

Двадцать штук в пачке. Пять минут штука. Сто минут.

Час сорок неприкосновенности на всю пачку, и после этого ты обычный шестнадцатилетний пацан на районе, где у одиннадцатилетних в петлице по полтора года стажа.

— И у тебя сколько сейчас? — спросила она.

— Тридцать восемь.

— Тридцать восемь?

— Тридцать восемь. — Жека пожал плечом. — Вчера купил две пачки. Вчера же две и сжёг.

Саня положила кулёк с семками себе на колени и накрыла его ладонью, как будто он мог убежать.

— Слышь, Семёнов, — сказала она. — Ты в следующий раз, когда за меня встанешь, ты сначала посчитай. Понял? Сначала посчитай, потом вставай.

— Я посчитал.

— Когда?

— Пока шёл, — сказал Жека.

Она открыла рот и закрыла.

Потом отсыпала ему семок обратно в горсть, и это было первое, что она ему в жизни дала.

К девяти пришёл Толян, сел на третий блок, взял горсть без спроса и сказал:

— Я вам не рассказывал, какая у меня фамилия?

— Иди отсюда, — сказала Саня.

— Хорошая фамилия. Подходящая.

— Толян.

— Ладно, ладно.

Так они и сидели, пока не стемнело. Шелуха под ногами набралась приличная, и утром её замела дворничиха тётя Рая, которая к тому времени уже полгода выметала со двора чистые боеприпасы и относилась к этому спокойно.

Глава 5. ПТУ номер тринадцать

Летняя практика у нас шла с первого июля по десятое августа, четыре дня в неделю, с восьми до часу, и заключалась в том, что тридцать человек второго курса приходили в мастерские ПТУ номер тринадцать и делали вид, что ремонтируют то, что ремонту не подлежит.

Мастерские стояли отдельным корпусом за котельной. Внутри было прохладно даже в июле, пахло эмульсией и старым железом, и вдоль стены выстроились восемь токарных станков, из которых работали три.

Жека числился слесарем-ремонтником. На практике ему выдали ящик с гайками от трёх разных систем и велели рассортировать. Он сортировал их вторую неделю и подозревал, что это никому не нужно, но сортировал добросовестно, потому что дома было хуже.

Мастер, Иван Афанасьевич, сидел в застеклённой конторке, читал «Труд» и раз в час выходил посмотреть, все ли живы. Про Фарт он не сказал за всё лето ни слова, и это его молчание пацаны уважали больше, чем всё остальное, что говорили им взрослые.

В пятницу, в начале одиннадцатого, в мастерскую вошёл Колька Суриков.

Он вошёл через главные ворота, которые обычно держали закрытыми, и вошёл так, чтобы это заметили. Белая рубашка. Брюки со стрелкой. Значок на груди другой, побольше звёздочки, с профилем. И в руке трубка, свёрнутая из бумаги, перевязанная тесёмкой.

Станки один за другим остановились.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Колька.

Голос у него был на полтона громче, чем нужно в помещении. Он этому научился недавно и пользовался пока неаккуратно.

Про Кольку Сурикова надо знать одно: он учился с Жекой в школе, в одном классе, с первого по восьмой, и восемь лет говорил ему «Колян» и брал у него ластик. А потом была история с сигарой, и после неё Колька перестал быть Коляном, а стал Колькой, а потом, когда двор узнал подробности, стал Сургучом.

Он этого погоняла не выносил.

Сургучом печатают, а Колька Суриков всю жизнь хотел быть тем, кто печатает.

— Здорово, Сургуч, — сказал кто-то от третьего станка.

— Меня зовут товарищ Суриков, — сказал Колька, глядя прямо перед собой. — Я по делу.

Он прошёл в середину прохода, поставил портфель и развязал тесёмку на трубке.

Бумага развернулась.

Это был конспект. Обыкновенная тетрадная бумага в линейку, сшитая в длинную ленту, исписанная от руки, аккуратно, синей пастой, с подчёркиваниями по линейке. Лента развернулась метра на полтора и встала в воздухе горизонтально, держась ни на чём.

По мастерской пошёл звук. Тихий, ровный, вроде того, что бывает от трансформаторной будки, если встать к ней близко.

— Оглашается, — сказал Колька.

И начал читать.

Он читал скучно, с расстановкой, как читают на собрании: список фамилий, адреса, годы рождения. Одиннадцать человек с нашего района, все от пятнадцати до девятнадцати. И против каждой фамилии — что за человек и чем занимается.

Пока он читал, с теми, кого он называл, ничего не происходило. Но по мастерской делалось так, что никто не двигался, и Витька от третьего станка, который начал было говорить, замолчал на середине слова и остался стоять с открытым ртом, а потом рот закрыл сам, и вид у него был извиняющийся.

Конспект работает так: пока написанное в нём — правда, оно становится правдой сильнее, чем было. Написал «тунеядец» — и человек при всех делается тунеядцем, и это видно, и это чувствуется, и отмыться нельзя, пока лента развёрнута.

— Семёнов Евгений Андреевич, — прочитал Колька. — Шестнадцать лет. Улица Энергетиков, двадцать четыре, квартира тридцать один. Учащийся. Отца нет. Мать сокращена с ГРЭС по собственному желанию.

Он поднял глаза.

— Вор, — прочитал он.

Гайки в ящике Жека сортировать перестал.

Он выпрямился, вытер руки о штаны и вышел из-за верстака в проход, потому что дальше сидеть было нельзя, и он это понимал, и все понимали.

Сигарету он доставать не стал.

— Я не вор, — сказал он.

Тут надо объяснить про базар, и я объясню коротко, потому что подробно вам объяснит Профессор через две главы, и уж он-то не остановится.

Базар — это проводник. Ты говоришь вслух, и сказанное держится ровно столько, сколько ты за него отвечаешь. Соврал — печати слетают. Звук у этого такой, будто в пустой квартире хлопнула форточка. Двор этот звук узнавал за версту, и человек, у которого при людях хлопнуло, потом полгода ходил с этим хлопком.

Дуэль печатников решается одним: чей базар крепче.

— Ты берёшь в магазине номер семь сигареты, — сказал Колька. — Регулярно. Без спроса.

— Беру.

— И не платишь.

— Плачу.

Лента конспекта дрогнула.

Совсем немного, на палец, но её повело, и звук от неё пошёл выше.

— Врёшь, — сказал Колька.

— Двести рублей во вторник. Девяносто пачка, взял две. Дядя Гена чек выбил, чек на прилавке под гирькой лежал. Хочешь — сходи посмотри, он их не выбрасывает.

Колька моргнул.

Он готовился к разговору. Он написал слово, проверил его и был уверен в нём, потому что двор говорил «ворует», и мать его говорила «ворует», и все говорили «ворует», и никому за полгода не пришло в голову зайти в магазин и спросить у дяди Гены.

— Всё равно вор, — сказал Колька громче. — Ты берёшь чужое без разрешения.

— Беру.

— Значит, вор!

— Значит, беру чужое без разрешения и плачу за него по ценнику, — сказал Жека. — Напиши так. Длинно получится, зато удержится.

Лента пошла волной от начала до конца.

— Ты меня тогда не за сигару сдал, — сказал Жека. — Ты меня сдал за то, что я тебя не позвал.

В мастерской стало очень тихо. Иван Афанасьевич в конторке отложил газету и посмотрел через стекло, но выходить не стал.

— Я тебя вообще не сдавал, — сказал Колька.

И вот тут хлопнуло.

Звук был точно такой, как я сказал: форточка в пустой квартире, на сквозняке, один раз. Лента конспекта в середине разошлась по шву, между двенадцатой и тринадцатой строчкой, и обе половины начали медленно оседать, теряя высоту.

Колька схватил их руками.

Он держал конспект за оба конца и пытался свести края, и края не сводились, и было видно, как он на глазах перестаёт быть товарищем Суриковым.

Он бросил ленту и пошёл на Жеку.

Жека стоял.

Он даже за пачкой не полез, и потом Профессор ему за это целую лекцию прочёл, и был совершенно прав, но в тот момент Жека стоял просто потому, что не считал нужным.

Колька до него не дошёл.

Между ними прошла рука — короткий рубящий мах от плеча вниз, — и воздух прогнулся, и обе половины конспекта, которые лежали на бетонном полу, разошлись ещё раз, поперёк, ровно, как ножницами.

Саня стояла в воротах, и в мастерских ей быть было не положено, потому что она вообще не училась в ПТУ номер тринадцать.

— Пошёл вон, — сказала она.

Колька собрал с пола четыре куска бумаги. Он собирал их долго и аккуратно, и никто ему не мешал и никто не смеялся, потому что смеяться над этим на районе было не принято.

В воротах он обернулся.

— Семёнов, — сказал он. — Я приду ещё. С новым.

— Приходи, — сказал Жека.

Когда Колька ушёл, Витька выдохнул и включил свой станок обратно, и мастерская зашумела.

Саня посмотрела на Жеку.

— Ты чего не прикурил?

— Не понадобилось.

— Тебе не понадобилось, — повторила она. — Слышь, гений. Ты в следующий раз всё-таки прикуривай, а то ты меня в гроб вгонишь.

Она развернулась и вышла.

Иван Афанасьевич вышел из конторки, посмотрел на пол, где ещё валялась тесёмка, поднял её, свернул и убрал в карман халата.

— Семёнов, — сказал он. — Гайки сортируй по резьбе, а не по размеру. Я тебе третий день говорю.

— Понял, Иван Афанасьевич.

Тесёмку эту он потом держал у себя в конторке до самого ноября, и зачем — не объяснял никому.

Глава 6. Второй бокс

За Комбатом послали Толяна, и это само по себе было сообщение.

Когда Комбат звал через мелких, это значило «зайди, когда сможешь». Когда он звал через Толяна, это значило «зайди сегодня». А если бы он пришёл сам, значило бы, что уже поздно.

— Он сказал, чтоб к семи, — доложил Толян. — И сказал, чтоб ты не выпендривался.

— Это он сказал?

— Это я от себя добавил, — честно ответил Толян. — Но по смыслу так.

Валерий Ильич Дёмин держал наш район с апреля. До апреля район держал Ромка Косой, а потом был элеватор, и после элеватора Ромка уехал к сестре в Тольятти и обратно не соби-
рался.

Комбату было тридцать девять, а на вид под шестьдесят. Он вернулся из Афганистана в восемьдесят восьмом, четыре года работал в автоколонне, а в январе, когда всё началось, оказа-
лось, что он браток четвёртой ступени, и никто на районе не удивился, включая его самого.

Гараж у него был второй в первом ряду. Изнутри бокс был обшит вагонкой, стоял стол, четыре стула, электрочайник и календарь за девяносто первый год, который никто не снимал, потому что картинка нравилась.

Жека пришёл в семь. С ним пришли Толян и Профессор.

Комбат посмотрел на троих.

Он смотрел долго. У него была манера: тебе задали вопрос, ты ответил, и дальше идёт пауза, за время которой можно успеть пожалеть обо всём. Пацаны звали это «полтора внут-
ренних года». Про эту паузу знали все и всё равно каждый раз в неё проваливались.

— Я звал одного, — сказал Комбат.

— Мы втроём, — сказал Жека.

Пауза.

— Почему.

— Потому что если я один, то это про меня. А если втроём, то это про район.

Комбат перевёл взгляд на Профессора. Профессор стоял с тетрадью и старался не выгля-
деть человеком, который в любую секунду начнёт объяснять.

— Тихомиров.

— Здравствуйте, Валерий Ильич.

— Ты зачем тут?

— Я записываю, — сказал Профессор. — Строго говоря, кроме меня, на районе никто не
ведёт систематических наблюдений, а без систематических наблюдений мы принимаем реше-
ния на основании слухов. Слухи у нас, при всём уважении к Зинаиде Павловне, распростра-
няются быстрее, чем проверяются.

Пауза.

— Садитесь, — сказал Комбат.

Стульев было четыре, и это оказалось кстати.

Он включил чайник. Чайник у Комбата был из тех, что закипают восемь минут и об
этом честно предупреждают всем корпусом, и восемь минут в том разговоре пришлось очень
к месту.

— Рассказывай, — сказал Комбат.

Жека рассказал. Про остановку, про звёздочку, про луч, про то, что луч в него ушёл
и там кончился. Он рассказывал коротко, по порядку и без своих соображений, потому что
соображений у него не было.

Комбат слушал, глядя в стол.

— Учёт открыли, — сказал он.

— Так Саня сказала.

— Саня правильно сказала. — Он побарабанил пальцами один раз и перестал. — Учёт — это когда тебя уже нашли и записали. Искать больше нечего. Дальше ждут повода.

— И долго ждут?

Пауза.

— Тебе сколько лет?

— Шестнадцать.

— Значит, недолго.

Профессор открыл тетрадь и начал писать.

Кожанка висела у Комбата на гвозде за спиной, и Жека на неё смотрел с той минуты, как вошёл, потому что смотреть на неё было интереснее, чем на календарь.

Кожанка — броня четвёртой ступени. Толян говорил про неё так, как другие говорят про мотоцикл.

И на левом плече у неё, от ворота вниз, шёл разрез.

Он был зашит, аккуратно, вручную, суровой ниткой, и шов получился ровный, стежок к стежку, и было видно, что человек, который его клал, никуда не спешил. Но разрез всё равно читался, потому что кожа по краям чуть завернулась, и завернулась она наружу.

— Апрель, — сказал Комбат, не оборачиваясь. — Элеватор.

— Это чем?

— Серпом.

Чайник щёлкнул и выключился. Никто не пошевелился.

— Кожанка держит четвёртый уровень, — сказал Профессор осторожно. — Её, теоретически, нельзя разрезать ничем, что есть на районе.

— Правильно теоретически.

— Тогда что это было?

Пауза. Самая длинная за вечер.

— Это был человек с серпом, — сказал Комбат. — Пожилой. Вежливый. Извинился.

Он встал, снял чайник и разлил по кружкам. Кружек было четыре, и они были разные, и одна была с олимпийским мишкой.

Про чай у Комбата надо знать вот что. Он никому его не предлагал. Он его наливал, и если он тебе налил — значит, ты остаёшься. Если не налил, ты допивал разговор и уходил, и всё было нормально, и никто не обижался, потому что правило было известное.

Толян получил кружку и посмотрел в неё так, будто там было написано что-то важное.

— Слушайте сюда, — сказал Комбат. — Что происходит, я вам не скажу, потому что сам не знаю. Я знаю четыре вещи. Первое: с марта у нас с района уходят печати. Тихо. Никто не жалуется: каждый думает, что это его личное невезение.

Профессор перестал писать.

— Второе. С апреля у нас милиция берёт не деньгами.

— А чем? — спросил Толян.

— Людьми, — сказал Комбат.

Он отпил.

— Третье. Тот, кто с серпом, приходит на район раз в две недели и каждый раз чуть ближе. В апреле был элеватор. В мае была проходная. В июне рынок.

— А в июле? — спросил Жека.

— В июле он пока не приходил.

Профессор поднял голову.

— Сегодня двадцать четвёртое.

— Я в курсе, какое сегодня, — сказал Комбат.

Он поставил кружку.

— Четвёртое. Про тебя, Семёнов. — Он посмотрел прямо. — Ты мне не нужен как боец. Ты не боец, и мы это все понимаем, и ты первый.

— Понимаю.

— Ты мне нужен как место, где ничего не происходит.

Профессор открыл рот, закрыл и записал эту фразу целиком, подчеркнув по линейке.

— Объясняю для тех, кто без тетради, — сказал Комбат. — Когда идёт замес, у каждого своя задача. Кто-то бьёт. Кто-то держит. А кому-то надо просто стоять в одной точке, чтобы через эту точку не прошло. Раньше на это ставили самого крепкого, и он ложился первым. Теперь у нас есть ты.

— На пять минут.

— На пять минут, — согласился Комбат. — Значит, всё, что мы делаем, будем укладывать в пять минут.

Он допил.

— Условия твои принимаю. Тихомиров пишет. Анатолий... — он посмотрел на Толяна. — Анатолий, ты чего хочешь?

Толян поставил кружку.

Он думал секунд десять, и все ждали, потому что перебивать Толяна, когда он думает, было бесполезно: он всё равно начинал сначала.

— Я хочу кожанку, — сказал он.

— Это я знаю.

— Нет, вы не поняли, Валерий Ильич. Я не в смысле «дайте». Я в смысле, чтоб заработать. Чтоб она моя была по-честному, и чтоб я знал, за что.

Пауза.

Комбат встал, снял кожанку с гвоздя и повесил её на спинку четвёртого стула, того, на котором сидел Толян.

— Померь.

Толян померил. Рукава были коротки на ладонь, в плечах трещало, и застегнуть её он не смог физически.

— Не налазит, — сказал он расстроенно.

— И не должна, — сказал Комбат. — Она четвёртого уровня, а ты первого. Снимай.

Толян снял и повесил обратно на гвоздь, аккуратно расправив плечи.

— Но померил же, — сказал он.

Из гаража вышли в девятом часу.

Уже темнело, и в проходе между рядами кто-то жёг костёр в железной бочке, хотя жара за день не спала и жечь костёр было незачем.

— Он нам сказал три вещи из четырёх, — сказал Профессор, глядя в тетрадь.

— Четыре, — сказал Толян. — Я считал.

— Четыре пункта. Три вещи. Четвёртый пункт был про Семёнова, а это не новость, это распределение. — Профессор захлопнул тетрадь. — И он ни слова не сказал про то, что делает сам. С марта у нас уходят печати, а он узнал об этом, судя по интонации, не сегодня.

— И чего? — спросил Толян.

— И того, Анатолий, что человек, который держит район, четыре месяца знал и молчал. У этого может быть хорошее объяснение.

— Ну вот и хорошо.

— Я сказал «может быть», — ответил Профессор.

Костёр в бочке трещал. Жека шёл и считал в уме, сколько у него осталось, и получалось тридцать восемь.

Я в тот вечер, между прочим, сидел на своей лавке и видел, как они шли от гаражей втроём, и подумал тогда, что вот это уже похоже на что-то.

Глава 7. Кружок

Кружок понятийлогии собирался по вторникам и четвергам в подвале ЖЭКа, в бывшей красной уголке, где до восьмьдесят девятого года проводили собрания жильцов, а после восьмьдесят девятого не проводили ничего.

Объявление висело на двери подъезда с апреля:

«КРУЖОК ПОНЯТОЛОГИИ. Вт., чт., 18:00. Подвал ЖЭКа. Разбираем, как оно устроено. Вход свободный. Приходить трезвыми. А. Тихомиров».

Ниже кто-то приписал: «Андрюха, ты дурак». Ещё ниже, другой рукой: «Зато объясняет».

Ходило человек пять. Из них двое ходили за компанию, один ходил в тепло, а Толян ходил, потому что ему нравилось, когда что-нибудь объясняют по порядку.

Доска у Профессора была из куска ДВП, прислонённого к трубе. Мел он приносил свой.

В тот вторник он начал так:

— Господа, сегодня мы разбираем противника.

— Каких господ, — отозвалась с задней парты баба Зина.

Парт, разумеется, никаких не было, была скамейка от автобусной остановки, которую притащили в мае и с тех пор считали мебелью. Баба Зина ходила на кружок с июня. Ходила она молча, вязала и вмешивалась ровно один раз за занятие, всегда в самый неподходящий момент.

— Зинаида Павловна, я вас прошу.

— Проси.

Профессор написал на ДВП два слова и подчеркнул их по линейке, которую тоже приносил свою.

ФАРТ. ИДЕЙНОСТЬ.

— Смотрите. Мы работаем на Фарте. Фарт — расходуемый ресурс. Потратил — восстановил. Механизм восстановления известен и позорен: семки. Это значит, что наша сила ограничена сверху тем, сколько ты можешь съесть, а снизу тем, сколько у тебя денег. И то и другое конечно, но и то и другое восполняется за один вечер у гаражей.

Он поставил стрелку от слова «Фарт» вниз и написал: «за вечер».

— Теперь они. «Красная Заря» работает не на Фарте.

— А на чём? — спросил Толян.

— На стаже.

Профессор провёл под вторым словом черту.

— Идейность питается стажем. Стаж — это сколько лет ты состоишь. Возраст тут ни при чём: считают с того дня, как тебе повязали, и до сегодняшнего.

— Так это же то же самое, — сказал Витька, который ходил в тепло.

— Это, Виктор, устроено ровно наоборот, и я объясню чем.

Профессор поднял два пальца.

— Фарт ты тратишь. Стаж ты не тратишь. Стаж только копится. Октябрёнок с полутора годами стажа сильнее гопницы третьей ступени, у которой Фарта полный карман, — и он был сильнее в четверг, и в пятницу будет сильнее ещё на день. Он ничего для этого не делает. Ему достаточно продолжать быть.

В подвале было прохладно и пахло сыростью и мокрой извёсткой. Сверху, через щель под потолком, доносилось, как во дворе стучат в домино.

— Дальше, — сказал Профессор. — Считаем.

Он повернулся к доске и начал писать столбиком.

— Октябрёнок. Принимают в семь лет, значит, к одиннадцати у него четыре года. Пионер — с десяти, к четырнадцати четыре-пять. Комсомолец — с четырнадцати. И вот тут у них

разрыв, потому что комсомол распустили в сентябре девяносто первого, и молодняк, который они сейчас набирают, набирается с нуля.

— То есть у них молодые пустые, — сказал Толян.

— Молодые у них пустые, — подтвердил Профессор. — Их можно бить, и они это знают, и поэтому они ходят тройками и никогда поодиночке.

Он поставил жирную точку.

— А теперь неприятное.

Он написал на ДВП: **1937**.

— Валерий Ильич сказал: человек с серпом, пожилой, вежливый. Кожанку четвёртого уровня он разрезал в апреле как бумагу. Такого не может быть. Значит, у него стаж, при котором «не может быть» перестаёт работать. Считаем от минимума. Если он вступил в партию хотя бы в тридцать седьмом году...

Профессор посчитал в столбик, хотя считать было нечего.

— Пятьдесят пять лет.

Он положил мел.

— Пятьдесят пять лет непрерывного стажа, господа. У Сани полгода. У меня, простите, восемь месяцев. У всего нашего района, если сложить всех, включая грудных, не наберётся и половины.

В подвале стало тихо. Наверху стукнули костяшки.

— Слушай, — сказал Толян. — А почему тогда они вообще нас боятся? Они бы уже всё забрали.

— Прекрасный вопрос, Анатолий. Я над ним думаю с апреля.

Профессор снял очки и потёр переносицу, и это у него означало, что дальше пойдёт гипотеза.

— У них должно быть слабое место. У всякой системы, которая копит и не тратит, слабое место в одном и том же: в переучёте. Я полагаю, что Идеюность нельзя применять быстро. Стаж — это большая инерция, а большая инерция плохо разворачивается. Отсюда моя рабочая гипотеза: они сильны, но медленны, и брать их надо темпом.

Он надел очки.

— Гипотезу я, разумеется, ещё не проверял.

Тут баба Зина отложила вязание.

Это был тот самый один раз за занятие, и все повернулись, потому что за два месяца привыкли.

— Андрюша, — сказала баба Зина. — А чего ты про веру не говоришь?

Профессор моргнул.

— В каком смысле про веру?

— В прямом. Ты вот тут написал: стаж, годы, кто когда вступил. — Она показала спицей на доску. — А я тебе скажу как человек, который в пятьдесят четвёртом вступала и в шестьдесят восьмом выходила. Стаж — это бумажка. Годы идут у всех одинаково. А сила у них берётся не с годов.

— А с чего?

— С того, что они в это верят. Я вот перестала верить в шестьдесят восьмом, в августе, — сказала баба Зина. — Стаж у меня шёл до семьдесят второго, пока я билет не сдала. Четыре года шёл. А толку с него было — ноль.

Профессор стоял с мелом в руке.

— Зинаида Павловна.

— Ну.

— Вы это могли сказать в мае.

— Ты в мае про них не спрашивал, — сказала баба Зина и взялась за вязание.

Профессор постоял, потом медленно вернулся к доске, стёр ладонью слово «медленны» и написал сбоку, мелко:

сомнение?

И обвёл в рамочку.

— Я это ещё не проверял, — сказал он, скорее себе.

Расходились в восьмом часу.

Жека выходил последним и у самой двери остановился.

В стене подвала, слева от выхода, на уровне груди, была ниша. Обыкновенная кирпичная ниша, глубиной сантиметров в тридцать, аккуратная, с гладко затёртыми краями.

Пустая.

— Тут что было? — спросил он.

Профессор обернулся.

— Печать ЖЭКа. Бытовая, четвёртой категории, от сырости и от плесени. Стояла с февраля, ЖЭК её купил официально, у меня и накладная переписана.

— И где она?

— Хороший вопрос, — сказал Профессор. — Две недели назад была. Я в четверг занимался и её видел, а в следующий вторник пришёл — ниша пустая.

Жека посмотрел на края ниши.

Кирпич по краям был чистый. Ни скола, ни трещины, ни следа от лома. Кто-то вынул отсюда вещь размером с кирпич и не задел при этом ни одного соседнего кирпича.

— Ты об этом кому-нибудь говорил?

— Я говорил в ЖЭКе. В ЖЭКе сказали, что спишут.

— А Комбату?

Профессор помолчал.

— Нет, — сказал он. — Комбату не говорил.

— Почему?

— Потому что Валерий Ильич, по его собственным словам, знает про пропажи с марта. — Профессор сложил доску, прислонил её к трубе и погасил свет. — А я нашёл первую пропажу вот в этой стене две недели назад. И если он знает с марта, то знает не от меня и не отсюда. Значит, у него есть другой источник, и мне бы очень хотелось понять какой.

Они поднялись по лестнице во двор.

Во дворе стучали в домино, пахло жареным луком со вторых этажей, и всё было настолько обычно, что говорить дальше про подвал было как-то неловко.

— Слушай, — сказал Толян, догоняя. — Я не понял. Так их бить-то можно?

— Молодых можно, — сказал Профессор.

— А старого?

— Старого, Анатолий, нельзя. Старого можно только переспорить.

Толян обдумал это до самого своего подъезда.

— Тогда мы попали, — сказал он на прощание. — Спорить у нас умеет один Жека, и то когда его достанут.

Глава 8. Кухня

Мать приходила с рынка в половине девятого.

Она работала не на себя. Товар был Мариночкин — свитера, кофты, детские колготки, всё турецкое, привезённое баулами, — а мать стояла и продавала за процент. Процент был семь. В хороший день выходило рублей триста, в плохой не выходило ничего, потому что процент считался с проданного.

Двадцать четвёртого июля был плохой день.

Жека услышал ключ, встал и включил газ под кастрюлей. Кастрюля стояла с обеда: картошка, лук, две сосиски, порезанные кружочками, — это называлось у них «с мясом», и обе стороны знали, что это шутка, и обе стороны эту шутку поддерживали.

— Ты ел? — спросила мать из коридора.

— Ждал.

— Не жди в следующий раз.

Она вошла на кухню, села и сняла босоножки, и вот тут стало видно, что она стояла девять часов.

Нине Семёновой был сорок один год. До декабря она работала лаборанткой на ГРЭС, в химцехе, двадцать лет и три месяца. В декабре её сократили по собственному желанию, и формулировку эту она произносила вслух ровно один раз, при подаче документов, и с тех пор не произносила.

— Хлеб купил?

— Купил.

— Молодец.

Он положил ей картошки. Она посидела над тарелкой, потом всё-таки взяла вилку.

За окном было ещё светло. В соседнем доме на четвёртом этаже мыли окно, и стекло раз в минуту вспыхивало и гасло.

— Мариночка сказала, в августе привезут ветровки, — сказала мать. — Говорит, ветровки берут.

— Ну хорошо.

— Хорошо, если берут. — Она пожевала. — А если не берут, то это я буду стоять с ветровками до ноября.

Некоторое время ели молча.

— Жень.

— М.

— Ты про после ПТУ думал?

Он поднял голову. Разговор этот у них случался раз в две недели и всегда начинался одинаково, и оба уже знали все реплики, и всё равно каждый раз проходили его заново, потому что не проходить было нельзя.

— Думал.

— И что надумал?

— Слесарь-ремонтник четвёртого разряда.

— Это я знаю, что у тебя в дипломе будет. Я про после.

Жека положил вилку.

— Мам, там завод стоит.

— Завод стоит, ГРЭС работает.

— На ГРЭС не берут.

— На ГРЭС не берут сейчас. — Она сказала это твёрдо, тем самым голосом, каким двадцать лет писала в журнале дежурств. — Через два года будет по-другому.

— Через два года будет по-другому, — согласился Жека.

Он сказал это без иронии, но получилось всё равно как-то так, и мать это услышала и цепляться не стала.

— Колька Суриков в институт собрался, — сказала она через минуту. — Тётя Валя говорила. На юридический.

— Слышал.

— А ты?

— А я думал на экономиста.

Он сам не знал, зачем это сказал. Слово «экономист» он слышал раза три по телевизору и один раз от Профессора, и что за ним стоит, представлял смутно: человек в костюме считает что-то большое.

Мать перестала жевать.

— Экономистом, — повторила она.

— Ну.

— Это где учат?

— Не знаю.

— И сколько стоит?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю, — сказала мать.

Без обиды, просто отметила факт, и от этого стало хуже, чем если бы она рассердилась.

Потом она встала, отнесла тарелку в раковину и сказала, глядя в окно:

— Дед у тебя тоже всё собирался.

Про деда в этой квартире говорили редко и коротко, как говорят про погоду зимой. Семён Семёнов, отцов отец, бригадир, тридцать лет на стройках, последние шесть — на энергоблоке. Энергоблок заморозили в восемьдесят шестом. Дед ходил на проходную ещё месяца четыре, потому что не верил, потом перестал ходить, а в девяностом его нашли у гаражей, и было это в марте, и было холодно.

— Он в семьдесят девятом на курсы записывался, — сказала мать. — Мастером хотел. Три занятия сходил.

— И?

— И бригада поехала на объект в Оренбург. — Она пустила воду. — Всё, Жень. Не начинай.

— Я не начинал.

— Ты собирался.

Она была права, и он не стал спорить.

Потом мать вытерла руки, ушла в комнату и вернулась со шкатулкой.

Шкатулка была деревянная, из тех, что продавались в «Подарках» на все праздники сразу: тёмный лак, выжженная веточка на крышке, внутри красный бархат, вытертый до основы. В ней жили документы, которые никуда не влезали: свидетельства, справки, чужие фотографии, две пуговицы от шинели, гарантийный талон на уют, купленный в восемьдесят третьем.

— Мне справка нужна, из химцеха, — сказала мать. — Мариночка говорит, для собеса. Она стала перебирать.

Жека сидел напротив и смотрел, как перебирают его жизнь: вот его свидетельство о рождении, вот табель за четвёртый класс, вот фотография, где он в шапке с помпоном.

И вот значок.

Октябрятская звёздочка. Красная, с золотой каёмкой, в середине — портрет кудрявого мальчика в овале. Обычная, пластмассовая, какие давали всем, и лежала она отдельно, завернутая в кусок кальки, и калька была свёрнута аккуратно, в четыре сгиба.

Мать выложила её на стол, не глядя, и полезла глубже.

Жека взял.

Пластмасса была лёгкая, и от неё ничего не шло. Ни луча, ни тяжести, ни того ощущения, которое он теперь узнавал шагов за десять.

— Мам, — сказал он. — Ты зачем её хранишь?

Мать нашла справку.

— Она твоя, — сказала она.

— Она пластмассовая.

— Она твоя.

Она забрала звёздочку, завернула обратно в кальку — в те же четыре сгиба, по старым линиям, — и положила на место, в самый низ, под гарантийный талон.

И закрыла шкатулку.

Дальше — то, о чём Жека не говорил вслух ни разу, ни Толяну, ни Сане, ни, тем более, мне.

В пионеры его не приняли.

Провинности за ним не было. Третью очередь их школы должны были принимать двадцать второго мая восемьдесят пятого года, у памятника, к обеду. Девятнадцатого её отменили и перенесли на осень, а осенью сказали: в связи с изменением порядка. Первую очередь — отличников — приняли в апреле, и Колька Суриков был в первой очереди, и весь тот апрель ходил в галстук, и в столовой не снимал.

Жека тогда пришёл домой и полдня сидел на подоконнике.

Ему было десять лет, и он хотел галстук так, как в десять лет хотят вещь, которая есть у других. Он даже придумал, как будет его гладить.

Второй раз это случилось через шесть лет и было уже не про галстук.

В мае девяносто первого их восьмой класс подавали в комсомол, третьей очередью, и Жека был в списке, и список ушёл в райком. Приём перенесли на сентябрь. В сентябре комсомола не стало.

Оба раза он ничего не сделал и оба раза оказался ни при чём, и это, если разобраться, было хуже, чем если бы его не взяли за дело.

Через полгода стало модно говорить, что всё это было ерунда, и Жека говорил вместе со всеми, и говорил довольно громко.

И вот теперь на район приходили люди в белых рубашках, и у одиннадцатилетних из петлиц шёл луч, и Жека каждый раз, когда видел эту эмаль, чувствовал внутри что-то, чему не было названия и что было довольно противно.

Он про это никому не сказал. И зря, потому что человек, который приходил на район раз в две недели, такие вещи чуял безошибочно и работал именно с ними.

— Жень, — сказала мать от двери. — Я в школу тогда ходила. Помнишь?

— Помню.

— Ты злишься до сих пор.

— Не злюсь.

Это было в шестом классе. Их класс делили: «А» и «Б» оставляли, а из остатков собирали «Д», и в «Д» шли те, у кого по три тройки и больше. У Жеки было четыре. Список висел два дня.

И на третий день мать отпросилась со смены, надела своё бордовое, пришла в школу и просидела под кабинетом директора час двадцать.

Жека в это время стоял в коридоре у окна, и мимо ходили, и все всё видели.

Его оставили в «Б».

Он не сказал ей спасибо ни в тот день, ни потом. Он вообще с ней тогда две недели разговаривал через раз, и она это понимала, и не лезла.

— Ты за меня тогда вступилась, — сказал он.

Мать стояла в дверях со справкой в руке.

— Я тебя тогда унизила, — сказала она. — Я знаю. Я бы и сейчас так сделала.

Она ушла в комнату. Через минуту оттуда пошёл звук телевизора: заставка, музыка, и голос сказал, что в эфире вторая серия.

Жека остался на кухне. Он вымыл кастрюлю, вытер стол и постоял у окна.

Потом достал из кармана спичечный коробок, открыл, посмотрел на окурок, лежавший там со вторника, и закрыл обратно.

Всего оставалось тридцать восемь. Он это знал и без пересчёта, но всё равно достал обе пачки и пересчитал.

Глава 9. Горн

Двадцать седьмого июля, в понедельник, они стояли у «Пятой линии» вчетвером и ничего не делали, и это была официальная задача.

Комбат поставил задачу в субботу. Формулировка была такая: «На линии должен кто-то быть». Дежурили по двое от каждого двора, менялись в семь. Пацаны называли это «стоять на пятой», и стоять на пятой считалось скучно ровно до того дня, когда перестало.

С Жекой были Толян, Саня и Егорка Пряхин, который прибил сам и которого гоняли домой три раза.

— Мне пятнадцать, — говорил Егорка.

— Тебе пятнадцать в декабре, — говорила Саня.

— В ноябре.

— Иди домой.

Он не шёл. Он садился на бордюр в двадцати метрах и сидел там с видом человека, которого позвали.

В половине девятого солнце ушло за пятиэтажки, и над пустырьём пошёл тот сухой вечерний ветер, который в июле поднимает пыль и ничего не охлаждает.

Они вышли с пустыря.

Четверо. Впереди двое мелких в серых рубашках, уже знакомых. За ними — девушка лет шестнадцати, в белой блузке, с красным галстуком, повязанным аккуратно, тремя концами наружу.

И четвёртый, сзади, с портфелем.

У девушки в руке был горн.

Обыкновенный пионерский горн, медный, с потёртым раструбом и вмятиной сбоку, из тех, что лежали в каждой школе на складе физкультуры под матами.

— Толян, — сказала Саня. — Егорку убери.

— Ага.

Толян пошёл к Егорке. Егорка встал и попятился, но не ушёл, и это потом стоило всем дорого.

— Добрый вечер, — сказала девушка.

— Проходи мимо, — сказала Саня.

— Мы по адресу.

Она поднесла горн к губам.

Дальше нужно объяснить одну вещь, и объяснить придётся быстро, потому что дальше всё пошло быстро.

Горн бьёт звуком. Звук идёт со скоростью звука — триста сорок метров в секунду, и это единственная скорость, которая у них есть. Он летит по прямой и заворачивает за угол плохо. Профессор посчитал: если между тобой и горнистом стоит бетонная стена и ты за ней, тебе достанется процентов пятнадцать. Если открытое место — тебе достанется всё.

«Пятая линия» стоит на открытом месте. С одной стороны забор ГРЭС, с другой пустырь, и до ближайшего угла — до торца дома двадцать восемь — было метров сорок.

Сорок метров звук проходит за одну восьмую секунды.

Бежать смысла нет. Профессор это тоже посчитал, но уже потом.

— Все за павильон! — крикнула Саня.

Она успела сказать это целиком, потому что девушка набирала воздух, и на вдох ушло секунды полторы.

Толян рванул к Егорке. Жека полез в карман.

Горн заиграл.

Три ноты, короткие, поднимающиеся, те самые, которыми будят в лагере. Жека их знал, потому что их знали все, кто хоть раз включал телевизор в восемь утра.

Звук ударил по открытому месту и накрыл его целиком.

Бетонный павильон загудел изнутри. Стекло в эмалированном щите «Берегись поезда» треснуло крест-накрест и осталось на месте. Пыль с асфальта поднялась ровным слоем, до колена, и так и осталась стоять.

Саня успела за павильон и потому осталась на ногах.

Жеку взяло на середине движения — рука в кармане, пачка в пальцах.

Его развернуло и посадило на асфальт.

Больно не было. Это надо сказать точно, потому что все потом спрашивали: больно ли. Больно не было. Было так, будто из тебя вынули решение. Вот ты собирался что-то сделать, у тебя это было в голове целиком, до последнего шага, — и вот этого больше нет, а есть только звук в кости за ухом и полная готовность делать то, что скажут.

Жека сидел на асфальте и понимал каждой клеткой, что сейчас правильно будет встать в строй.

Так это и работает. Их сила никого не бьёт. Она снимает с тебя вопрос.

— Встали, — сказала девушка. Она опустила горн и говорила спокойно. — Построились. Руки по швам.

Двое из очереди у бочки с квасом — взрослые мужики, сорока лет, при авоськах — поставили авоськи на асфальт и построились.

Жека держал в кармане пачку и не мог вспомнить, зачем она ему.

Толян до Егорки добежал.

Он добежал и закрыл его собой — просто встал спиной к горну и загородил, потому что Толян был широкий, а Егорка мелкий, и других идей у Толяна не было и никогда не бывало.

Звук лёг ему на спину.

Кожанки у Толяна не было. На нём была футболка, растянутая по вороту, синяя, с надписью «SPORT».

Он устоял.

Он простоял всё это на ногах, шатаясь, с закрытыми глазами, и Егорка потом рассказывал, что Толян за это время два раза сказал: «Ага. Ага».

Саня вышла из-за павильона.

Она вышла в тот момент, когда девушка опускала горн, и прошла эти пятнадцать метров в четыре шага.

Один из мелких взялся за звёздочку. Луч пошёл ей в плечо и лёг, и она его дотащила на себе, потому что четыре шага — это меньше, чем нужно лучу, чтобы во что-нибудь превратиться.

«С разворота» она провела на третьем шаге.

Воздух прогнулся и ударил горнистку в грудь, и та села, и горн покатился по асфальту с тем самым медным грохотом, который слышал всякий, кто ронял в школе горн.

Четвёртый, с портфелем, шагнул вперёд.

И тут Жека вспомнил, зачем ему пачка.

Он вспомнил это не сразу и не сам: он увидел с асфальта, как под ногами у него лежит спичечный коробок, который вывалился из кармана при падении. Коробок был свой, знакомый, с окурком внутри, и от этого в голове что-то встало на место.

Он достал сигарету, взял в зубы и чиркнул спичкой с третьего раза.

Потом встал и пошёл вперёд.

Он прошёл мимо Сани, мимо мелких, встал между четвёртым и всеми остальными и остановился.

— Отойдите, — сказал четвёртый.

Жека стоял, и сигарета работала. Пыль ещё висела над асфальтом, и в этой пыли было хорошо видно, как дым идёт вверх.

Четвёртый достал из портфеля тетрадь. Обычную, в клетку, безо всякого свитка. Это означало, что до комсомольца он не дотягивает, и он это знал сам, и потому тетрадь убрал обратно.

— Забирайте, — сказал он мелким, кивнув на горнистку.

Её подняли под руки.

Уходили они через пустырь, и уходили не спеша, и это было хуже всего: они уходили, как уходят с работы.

В павильоне мужик с авоськой моргнул, поднял авоську и сказал: «Это чего было?» — и никто ему не ответил.

Жека дал сигарете догореть до фильтра, потому что тратить впустую было жалко, а тушить уже не имело смысла.

Она сгорела за полторы минуты вместо пяти. Он это заметил, не понял и никому не сказал, и вспомнил про это только в ноябре, на глубине шести метров двадцати сантиметров.

Тридцать семь.

Толян сидел на бордюре, и Егорка сидел рядом.

— Толян.

— Ага.

— Ты как?

— Ага, — сказал Толян.

Саня подошла, присела перед ним на корточки и повернула его лицо к свету.

Через спину, наискось, от левого плеча вниз, шла полоса.

Цвета она была телесного, на полтона светлее остальной спины, ровная, шириной в два пальца, с чёткими краями. Футболка над ней была целая.

Саня положила ладонь.

— Семки давай, — сказала она, не оборачиваясь.

Егорка вытряс из кармана кулёк.

Толян ел горстями, минут пять, молча, и с каждой горстью Фарт в нём шёл обратно, и это было видно: лицо у него становилось живым, и плечи разворачивались.

Полоса осталась.

Саня взяла ещё горсть, растёрла в пальцах и провела по ней — так, как делают, когда лечат ушиб.

Ничего.

Она попробовала ещё раз, всей ладонью, и Жека видел, как у неё пошли желваки, потому что Саня третьей ступени умела снимать с людей всё, что снимается на районе: ссадину, вывих, чужой сглаз, следы от кастета.

— Не берёт, — сказала она.

— Чего не берёт? — спросил Толян.

— Тебя не берёт. — Она вытерла руку о джинсы. — Фарт по этой штуке не идёт. Она не наша.

Толян вывернул шею, пытаясь посмотреть на собственную спину, и, конечно, ничего не увидел.

— И чего теперь?

— Не знаю, — сказала Саня.

Егорка сидел рядом и молчал. Он молчал всю дорогу до дома и дома, судя по всему, тоже, потому что тётя Валя на следующий день говорила бабе Зине, что мальчик пришёл странный.

Полоса у Толяна не сошла ни за неделю, ни за месяц.

Она была у него на спине и в ноябре, когда всё кончилось, и осталась потом на всю жизнь, и в армии на медкомиссии её записали как «след термического воздействия, происхождение со слов».

Глава 10. Союзпечать

Ларёк стоял на Пятой линии, между бочкой с квасом и телефонной будкой, из которой звонили только в справочную, потому что трубку в ней оторвали ещё зимой и приладили обратно на изоленту.

Раньше в нём торговали газетами. Вывеска осталась прежняя: «СОЮЗПЕЧАТЬ», белым по синему, и буква «Ю» держалась на одном шурупе и слегка отставала.

С февраля в нём торговали печатями, и вывеску никто не поменял, потому что она подошла.

Витрина у Любы была разложена по-магазинному, с ценниками, написанными от руки печатными буквами:

От тараканов — 90 р. От сырости — 120 р. От очереди (на 1 чел.) — 200 р. От свекрови — 350 р. От сглаза общего — 400 р. Чтоб не киснуло молоко — 60 р. Чтоб ребёнок спал — 900 р.

Внизу, отдельной бумажкой: «БЕЗ НАКЛАДНОЙ НЕ ПРОДАЮ. НЕ ПРОСИТЕ».

Сами печати выглядели скучно. Это были кругляши серого камня, размером с крупную пуговицу, с оттиском на одной стороне и номером на другой. Их клали в угол комнаты, или в ящик, или под порог, и они работали месяц-полтора, а потом их надо было менять, и на этом стоял весь бизнес.

Жека пришёл в среду, к обеду.

Люба сидела внутри на высоком табурете, в окошке было видно её до плеч. Ей было шестнадцать, она была маленькая, светлая и всегда выглядела так, будто её только что похвалили, хотя хвалить её было некому.

В иерархии она не состояла никак. Ни ступени, ни расклада, ни полосок. При этом Любу на районе не трогали, и причину этого никто не сформулировал ни тогда, ни потом.

— Здравствуй, Женя, — сказала она.

— Здорово. Слушай, у тебя есть что-нибудь от следа?

— От какого следа?

— От их следа. От Идейности.

Люба подумала.

— Нет, — сказала она.

— А вообще бывает?

— Не знаю. У меня в прайсе такого нет, и в накладных за полгода не было, и Пал Сергеич про такое не привозил. — Она сложила руки на прилавке. — Это у Толи?

Жека помолчал.

— Ты откуда знаешь?

— Он вчера мимо шёл и футболку задирает перед стеклом, — сказала Люба. — Смотрел со спины. У меня стекло большое.

Такая она была вся. Она говорила то, что видела, ровно и без нажима, и от этого разговаривать с ней было неудобно примерно всем.

— Не показывай, что знаешь, — сказал Жека. — Он стесняется.

— Хорошо.

Она достала из-под прилавка эмалированную кружку и налила себе из термоса.

— Женя, а ты по делу пришёл?

— Я по делу.

— Тогда заходи. У меня тут разговор длинный.

Внутри ларька было тесно, жарко и пахло бумагой. Полки, ящики, вентилятор без крышки, привязанный проволокой к трубе. И на стене — гвоздь, а на гвозде толстая пачка накладных, пробитых сверху и нанизанных.

Люба сняла пачку и положила на прилавок.

— Смотри, — сказала она.

Про накладные надо коротко.

После декабря печати стали товаром, и товар этот пошёл через ту же систему, через которую шло всё остальное: база, накладная, отпуск по факту. Люба получала товар от Пал Сергеевича с базы раз в две недели, расписывалась и вела книгу. Приход, расход, остаток. Никто на районе, кроме неё, этого не делал, потому что все остальные торговали как торговали.

— Вот февраль, — сказала Люба, переворачивая листы. — Вот март. Вот апрель. Смотри на организации.

— Я не понимаю в накладных.

— Я объясню, это просто. Частник берёт одну и берёт для дома. А организация берёт по безналу, с печатью и подписью, и организаций у меня немного. — Она провела пальцем по столбику. — ЖЭК номер четыре. Школа номер сорок один. Рынок, дирекция. Столовая ГРЭС. Домоуправление. Всё.

— И что?

— В марте они брали как обычно. По одной, по две. А с апреля вот. — Она перевернула страницу. — ЖЭК берёт четыре. Рынок берёт шесть. Школа берёт три, а у школы каникулы.

— Может, им надо.

— Может, — согласилась Люба. — Я тоже так подумала. И я стала спрашивать, когда они приходят продлевать.

— И?

— И они не приходят продлевать.

Она положила ладонь на пачку.

— Женя, печать работает полтора месяца. Ну два, если хорошая. Потом она выдыхается, и её меняют, все меняют, у меня на этом половина оборота. — Она подняла глаза. — ЖЭК взял четыре штуки в апреле. Сейчас конец июля. Они не пришли ни разу.

— Значит, у них ещё работают.

— Значит, у них их нет, — сказала Люба.

Жека взял верхнюю накладную и посмотрел. Синяя печать, подпись, дата, номер. Всё как положено.

— Ты в подвале ЖЭКа была?

— Нет.

— Там ниша в стене. Пустая. Профессор говорит, две недели назад была печать, а потом не стало.

Люба кивнула, как кивают, когда цифра сошлась.

— Вот и у меня так же, — сказала она. — Они покупают, и оно у них пропадает, и они молчат.

— Почему молчат?

— Потому что они не сами покупают, — сказала Люба.

Жека не сразу понял.

— Как это?

— Печать по безналу оформляют на организацию, а приходит человек. С доверенностью. — Она вытянула из пачки один лист. — Вот. Апрель, рынок, шесть штук. Доверенность номер сорок семь. Тут написана фамилия.

Жека посмотрел.

Строчка была вписана от руки, чернилами, аккуратным почерком, с наклоном.

Суриков Н. П.

— Он приходил три раза, — сказала Люба. — Первый раз в апреле, от рынка. Второй в мае, от школы. Третий в июне, от домоуправления.

— Какой из себя?

— Белая рубашка. Брюки со стрелкой. Портфель. — Люба подумала. — Выглядит года на два старше тебя. А на самом деле ровесник, я его в школе видела, он на класс младше моей сестры.

Жека положил накладную на прилавок и некоторое время её не отпускал.

— И ты ему отдавала?

— Я обязана. — Люба положила лист обратно. — У него бумага. У меня накладная. Если я не отдам, я нарушу, и меня закроют за три дня, и тогда на районе печатей не будет вообще.

Жека постоял.

— Ты Комбату говорила?

— Нет.

— Почему?

— Меня никто не спрашивал, — сказала Люба.

Без обиды, просто отчиталась, и от этой фразы Жеке стало неудобно так, как ему давно не было.

Он посчитал в уме. Апрель — рынок. Май — школа. Июнь — домоуправление и подвал ЖЭКа.

— Июль? — спросил он.

Люба перевернула последнюю страницу.

— В июле никто не приходил, — сказала она. — Ни разу.

— Совсем?

— Совсем. — Она закрыла книгу. — И вот это мне и не нравится, Женя.

Вентилятор гудел и качал горячий воздух по кругу.

— У меня послезавтра поставка, — сказала Люба. — Пал Сергеич везёт с базы. Двадцать четыре штуки, самая большая за всё лето, я под неё три недели деньги собирала.

— Кто про неё знает?

— База знает. Я знаю. Пал Сергеич знает. — Она подумала. — И в накладной написано, а накладная у меня на гвозде висит, и ко мне сюда за день человек тридцать заходит.

Жека посмотрел на гвоздь.

— Люб.

— Что?

— Ты сюда пускаешь кого попало.

— Я пускаю всех, кто зайдёт, — сказала Люба. — Ко мне ходят люди, у которых тараканы.

Он вышел на улицу в третьем часу.

Солнце стояло высоко, бочка с квасом была пустая, и очередь от неё уже разошлась. У телефонной будки стоял пацан лет двенадцати и слушал длинные гудки.

Жека прошёл полквартала, остановился и вернулся.

— Люб.

Она высунулась в окошко.

— Послезавтра во сколько поставка?

— В восемь утра.

— Мы придём в семь, — сказал Жека.

Люба посмотрела на него.

— Кто это — мы?

— Я, Толян и Саня.

— А Валерий Ильич?

Жека подумал.

— Валерию Ильичу я скажу сегодня, — сказал он.

Он и правда сказал в тот же вечер. И Валерий Ильич выслушал, помолчал свои полтора внутренних года и ответил: «Хорошо, что сказал».

А про то, что ему самому про Сурикова было известно с мая, он не сказал ни слова, и это выяснилось только в сентябре.

Глава 11. Поставка

В пятницу они пришли к ларьку в семь.

Утро было серое, первое серое утро за три недели, и с пустыря тянуло сыростью. Люба открылась в половине восьмого и выставила на прилавок термос и три кружки, потому что четвёртую не нашла.

— Кто где стоит? — спросила Саня.

— Толян у будки, — сказал Жека. — Ты с той стороны, за бочкой. Я у окошка.

— А чего ты у окошка?

— Потому что если что, надо будет стоять в дверях.

Саня спорить не стала, и это было для неё редкостью и означало, что расстановка правильная.

Профессор пришёл без пятнадцати восемь с двумя тетрадями и сел на ящик в трёх метрах от ларька.

— Я наблюдаю, — сказал он.

— Ты мешаешь, — сказала Саня.

— Я наблюдаю и мешаю, — согласился Профессор и открыл тетрадь.

Машина пришла в восемь ноль пять.

Это был «уазик»-буханка, зелёный, с базы, и из него вылез Пал Сергеич — толстый мужик лет пятидесяти в сандалиях на носки, с папкой под мышкой. Он открыл заднюю дверь, вытащил ящик, поставил на асфальт и вытер лоб.

— Люба! Расписывайся!

Ящик был фанерный, с ручками, и в нём, переложённые ватой, лежали двадцать четыре серых кругляша.

Люба пересчитала. Пересчитала второй раз. Расписалась в двух местах, оторвала свой корешок и повесила на гвоздь.

— Всё? — спросил Пал Сергеич.

— Всё.

— Тогда я поехал, у меня ещё Заводской.

Он сел и уехал, и «уазик» пошёл по улице Энергетиков, подпрыгивая на стыках.

Стало тихо.

Толян стоял у будки. Саня стояла за бочкой. Жека стоял у окошка. Профессор писал.

Ничего не происходило.

К девяти пришла первая покупательница — женщина с четвёртого дома, взяла от тараканов, ушла. К половине десятого пришли ещё двое. К десяти открылась бочка с квасом, и появилась очередь, и стало шумно.

В одиннадцать Толян сказал:

— Может, они не придут.

— Может, — сказал Жека.

В двенадцать Саня отошла за угол и вернулась с двумя пирожками, и один отдала Толяну, и это было единственное событие за четыре часа.

В час дня Профессор закрыл тетрадь.

— Господа, я вынужден констатировать: сегодня ничего не будет.

— Почему?

— Потому что двадцать четыре печати в одном ящике — это слишком заметно. Их проще брать по одной там, куда они уже разошлись. — Он снял очки. — И, к сожалению, это означает, что мы сегодня охраняли ровно ту точку, которую охранять не нужно.

— И где нужно? — спросила Саня.

— Везде, — сказал Профессор. — В этом и проблема.

Разошлись в третьем часу.

Люба заперла ларёк на два замка и повесила третий, новый, купленный накануне на рынке за двести рублей.

Я вам сразу скажу, чтобы вы не ждали зря: ларёк вскрыли в конце августа, и замки к этому отношения не имели.

Вечером Жека пошёл к гаражам один.

Он пришёл туда без всякой цели, просто потому, что больше идти было некуда, и сел на бетонный блок у самого конца второго ряда, там, где ряд упирается в забор.

Забор был бетонный, из плит, поставленных в пазы, и одна плита давно вывалилась наружу, и в проём было видно пустырь и трубу ГРЭС.

У этого забора в марте девяностого нашли его деда.

Про это Жека не рассказывал никому, кроме Толяна, и Толяну рассказал один раз, зимой, и потом жалел.

Семён Егорович Семёнов был бригадир. Тридцать лет на стройках, из них шесть последних — на втором энергоблоке Черноярской ГРЭС. Стройку заморозили в восемьдесят шестом. Сначала сказали — до конца года. Потом сказали — до особого распоряжения. Особого распоряжения не пришло.

Дед ходил на проходную ещё четыре месяца. Он вставал в шесть, брился, надевал пиджак и уходил, и приходил в четыре, и что он там делал все эти четыре месяца, семья не спрашивала.

Потом перестал.

Потом начал пить. Пил он тихо и по расписанию: с двух до восьми у гаражей, с кем придётся. К гаражам он ходил как на смену, и когда его туда переставали пускать, он садился у забора, у той самой выпавшей плиты, и сидел.

Жеке было тогда двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Мать посылала его за дедом.

Он приходил, садился рядом и ждал. Дед его узнавал не всегда сразу.

И вот про что дед говорил.

Он говорил про фундамент.

Он говорил про это довольно часто, и семья привыкла, и никто не слушал, потому что человек, который каждый вечер пьяный говорит одно и то же, через полгода становится частью шума. Мать выучилась отвечать «да, пап» и мыть посуду в это время.

А Жека сидел рядом на бетоне и слушал, потому что деваться было некуда.

— Мы туда лили в мае, — говорил дед. — Восемьдесят пятый год. Ночью лили, Женька. Ты понимаешь, что такое лить ночью?

— Не понимаю.

— И никто не понимает. Днём льют. Ночью не льют, ночью бетон встаёт по-другому, у него температура другая, у него всё другое. А нам сказали — ночью.

Он поднимал палец.

— Пригнали два миксера и цельный автобус в двенадцать часов ночи. Из автобуса вышли одиннадцать человек, все в пальто, в мае месяце, в пальто. Я запомнил, потому что подумал: вот дураки, запарятся.

— И чего?

— Ничего. Опалубку они смотрели сами. Меня отогнали, сказали — покурите, товарищ бригадир. Я час курил. Час, Женька. У меня за тридцать лет ни разу не было, чтоб бригадира на его же захватке отогнали покурить.

Он опускал руку.

— А потом позвали, и мы залили. И там, в опалубке, в самом низу, лежало.

— Что лежало?

— А я не знаю. Ящик. Метр на метр, может, поменьше. Обшитый. И к нему шли четыре тяги на анкера, и анкера были не наши, я такого крепежа в жизни не видел, а я видел всякий.

— И вы залили?

— А что мне было делать? У меня наряд.

Дальше дед обычно замолкал минут на десять, а потом говорил одно и то же:

— Женька. Ты запомни. Северный угол, отметка минус шесть двадцать, между третьей и четвёртой осью. Запомнил?

— Запомнил.

— Повтори.

— Северный угол, минус шесть двадцать, между третьей и четвёртой.

— Молодец.

И на этом он успокаивался.

Жека повторял, потому что так дед быстрее вставал и шёл домой. Он повторял это, наверное, раз тридцать за два года, механически, как повторяют считалку, и ни разу не подумал, что это может что-нибудь значить.

В марте девяностого деда нашли у этого забора в семь утра. Ночь была минус восемнадцать. Официально написали переохлаждение.

Хоронили в четверг. Пришло девять человек, из них четверо из бригады.

И вот теперь Жека сидел на том же бетонном блоке, в июле девяносто второго, и смотрел через проём в заборе на трубу ГРЭС, и рядом с трубой, левее, стоял недостроенный корпус второго энергоблока — серая коробка в двенадцать этажей без окон, с торчащей арматурой, которую местные два года пилили и сдавали.

Он сидел так минут сорок.

Потом пришёл Толян, сел рядом и ничего не спросил, потому что Толян не спрашивал никогда, и в этом было его главное достоинство.

— Толян.

— Ага.

— Ты знаешь, что такое отметка минус шесть двадцать?

Толян подумал.

— Это на шесть двадцать ниже нуля, — сказал он. — Ноль — это уровень пола первого этажа. Значит, подвал. Хороший такой подвал, глубокий.

— Ты откуда знаешь?

— У меня отец монтажник, — сказал Толян. — Я эти отметки слышу с трёх лет.

Они посидели.

— А чего ты спросил-то? — сказал Толян.

— Да так, — сказал Жека.

И вот на этом месте я, пожалуй, вмешаюсь, потому что дальше про это долго не будет.

Про то, что залили в фундамент второго энергоблока в мае восемьдесят пятого года, на районе к тому лету не знал никто. Знали двое: человек, который приезжал в автобусе в пальто, и бригадир, который был отогнан покурить и вернулся.

Бригадир умер в марте девяностого у бетонного забора.

Перед этим он два года каждый вечер вслух повторял координаты пьяному внуку, потому что больше их некому было передать.

Внук выучил их наизусть и не понял ни слова.

Глава 12. Кубинская сигара

Школа номер сорок один стояла в двух остановках, за рынком, и летом была закрыта, кроме мастерских.

Мастерские летом работали, потому что летом в школе шёл ремонт, а ремонт означал, что кто-то должен чинить парты, и чинил их Павел Павлович Гречка, учитель труда, единственный человек в той школе, который за все восемь лет ни разу Жеке не соврал.

Жека добрался туда в субботу, первого августа, и дальше не пошёл.

Он постоял у забора, посмотрел на распахнутую дверь мастерской, из которой пахло клеем и опилками, развернулся и пошёл обратно.

Про то, почему он развернулся, надо рассказывать с марта девяносто первого.

Пал Палычу было под шестьдесят. Он носил синий халат, ходил медленно и разговаривал с классом так, как разговаривают с бригадой: без воспитания и без интонаций. Двойки он не ставил принципиально. Он говорил: «Ты не сделал. Значит, придёшь и сделаешь», — и человек приходил и делал, потому что деваться было некуда, а орать на него никто не орал.

В столе у него, в верхнем ящике слева, лежала сигара.

Настоящая кубинская сигара в алюминиевом пенале с завинчивающейся крышкой. Её привёз ему в семьдесят девятом бывший ученик, который ушёл в мореходку и попал в Гавану. Пал Палыч её не курил. Он вообще не курил. Он держал её в столе тринадцать лет и раз в год показывал восьмому классу — вынимал, отвинчивал крышку, давал понюхать по ряду и завинчивал обратно.

Ходила легенда, что она горит сорок минут.

Сколько горит сигара на самом деле, никто в той школе не знал, включая Пал Палыча. Цифру сорок придумал кто-то в семьдесят девятом, и с тех пор она передавалась из класса в класс, как передаётся всё школьное: без источника и без сомнений.

Жеке было четырнадцать, и он думал про эту сигару каждый день с сентября по март.

Здесь важно понять одну вещь, и в четырнадцать лет её объяснить нельзя, потому что слов нет.

Ему не нужна была сигара.

Ему нужно было, чтобы она у него была. Чтобы лежала в кармане куртки, и он ходил, и знал, что она там. Он даже примерно представлял, где будет её держать дома: за батареей, в щели, где уже лежал перочинный нож.

Он взял её в марте, в четверг, на большой перемене.

Мастерская была открыта, Пал Палыч вышел в столовую, ящик не запирался никогда. Жека вынул пенал, положил в карман и вышел, и его никто не видел.

Ровно никто.

Через сорок минут его позвали к завучу.

В кабинете сидели завуч, классная и Колька Суриков.

Колька стоял у стола прямой, с этим своим лицом человека, который поступает правильно, и это лицо у него было уже тогда, за год до всего.

— Он сказал, что вы всё видели, — сказала завуч.

— Я видел, — сказал Колька.

Он не видел. Мастерская выходит окнами во двор, а Колька в это время был в столовой, на втором этаже, что было потом установлено и никого не заинтересовало.

Он догадался.

Колька Суриков знал, что Жека думает про эту сигару, потому что Жека сам ему рассказывал в октябре, у гардероба, когда они ещё были Колян и Жека и делили один ластик.

Дальше был педсовет. На педсовет вызвали мать.

Мать пришла со смены, в своём бордовом, и просидела в коридоре сорок минут, а потом ещё двадцать в кабинете, и когда вышла, у неё было такое лицо, что Жека, стоявший у окна, отвернулся к стеклу и стоял так, пока она не подошла.

Домой шли молча. Дома она сказала одну фразу:

— Ты понимаешь, что теперь про меня скажут на работе?

И ушла на кухню.

Вот это и было фиаско. Не сигара, не завуч и не педсовет.

Пал Палыч на педсовете сказал следующее. Ему дали слово последнему, и он сказал:

— Ящик у меня не запирается. Я его тринадцать лет не запираю. Если вещь тринадцать лет лежит в незапертом ящике в школе, то удивительно другое: что её взяли только сейчас.

Классная сказала, что это не оправдание.

— Это не оправдание, — согласился Пал Палыч. — Это объяснение. Оправдываться будет он.

На следующий день Жека принёс пенал в мастерскую. Он пришёл после уроков, положил на верстак и стоял.

Пал Палыч вытер руки, взял пенал, отвинтил крышку, посмотрел внутрь, завинтил и убрал в ящик. Ящик не запер.

Потом он сел на табурет и спросил:

— Семёнов. Ты её выкурить хотел или хотел, чтоб она у тебя была?

Жека стоял и молчал.

— Ты подумай, не спеши.

Жека подумал.

— Чтоб была, — сказал он.

Пал Палыч кивнул.

— Тогда ты дурак, но не вор, — сказал он. — Иди, у меня рейка не пиленая.

Вот и всё, что было. Больше про это в школе не вспоминали, кроме того, что Колька перестал быть Коляном, а через месяц двор узнал подробности, и он стал Сургучом.

Теперь про сигареты.

Первого января девяносто второго года на нашем районе выяснилось, что мир поменялся, и выяснялось это в течение недели, лихорадочно и без всякой системы. Люди пробовали всё подряд. У кого-то работало, у большинства нет.

Жека пробовал у гаражей, вместе со всеми.

Ему сунули сигарету — «Приму», чужую, — сказали «на, дёрни, у Витьки от этого рука загорелась». Он взял в зубы, прикурил, поднёс ко рту.

И в этот момент кто-то сзади толкнул его в спину, потому что там была толпа и все толкались.

Он не затянулся.

А человек, который его толкнул, отлетел.

Не сильно, метра на полтора, и сел на снег, и все засмеялись, и Жека засмеялся тоже, и никто ничего не понял, включая его самого.

Понял он через две недели.

Он проверял это один, у забора, где сидел дед. Он проверял методично, потому что читать условия задачи до конца было его единственным настоящим талантом.

Сигарета в зубах, прикурена, не затянулся — держит. Сигарета в зубах, не прикурена — не держит. Прикурена, лежит рядом на бетоне — не держит. Прикурена, в зубах, затянулся — ...

Вот здесь он остановился.

Он стоял у забора с сигаретой в зубах и понимал, что проверить последний пункт можно ровно один раз, и что если он окажется прав, то проверка обойдётся ему во всё.

Он не стал проверять.

Он вынул сигарету, затушил о бетон и пошёл домой, и с тех пор так и держал: в зубах, прикуренную, до фильтра, ни разу.

За полгода он не сделал ни одной затяжки.

Никто на районе, кроме Профессора, не понимал, чего это стоит, а Профессор понимал только арифметически.

Хотелось ему редко, и с этим он справлялся.

Тяжело было другое. Каждый раз, когда он держал её в зубах и она тлела, у него в голове сидела одна и та же мысль, ровная, как гудение трансформаторной будки: «А может, ничего и не будет. Может, я это всё выдумал».

Вот с этой мыслью он и жил.

Первого августа он постоял у школьного забора, посмотрел на дверь мастерской и повернул назад.

Идти туда было незачем. Сказать Пал Палычу он ничего не мог, потому что рассказывать пришлось бы всё, а рассказывать всё он не умел.

Он дошёл до рынка, купил у бабки Тони стакан семок для Толяна и пошёл домой.

На углу Энергетиков и Пятой линии стоял «жигулёнок» шестой модели, вишнёвый, и в нём сидели двое и не выходили.

Жека прошёл мимо и не обернулся.

Потом обернулся всё-таки, метров через тридцать.

Номер он не запомнил. Он запомнил только, что у машины на заднем стекле висела занавесочка, а из-под занавесочки торчал угол картонной коробки.

К вечеру во дворе бабы Зины ковёр сообщил, что у Ковалёвых из тридцать восьмой пропала печать от сырости, купленная в июне, и что Ковалёвы никому ничего не говорили, а сказала соседка.

Профессор записал это в тетрадь под номером девять.

Глава 13. Седьмой бокс

Печать нейтралитета стояла в седьмом боксе с февраля.

Купили её в складчину. Собирали всем районом, по пятьдесят, по сто, кто сколько мог; Комбат добавил больше половины, но об этом при нём не говорили. Стоила она четыре тысячи двести — на февральские деньги это был мотоцикл — и была нормальная, третьей категории, с базы в области, с формуляром. Бытовые рядом с ней не стояли.

Работала она просто. На территории гаражей — от первого бокса до забора, включая проход — нельзя было применять ничего. Ни расклад, ни печать, ни Идейность. Ни своим, ни чужим. Заходишь в проход — и у тебя всё выключается, как выключается радио, когда выдёргивают шнур.

Из-за этого гаражи стали единственным местом на районе, где можно было разговаривать.

Туда ходили все. Туда ходили пацаны, туда ходили мужики с элеватора, туда в апреле приезжали с Заводского договариваться про рынок, и договорились, и никто никого не тронул, потому что там нельзя.

Седьмой бокс был пустой, без хозяина. Печать лежала в нём на полу, в железном ящике, приваренном к плите, и ящик был заперт на замок, и замок этот был чистой формальностью, потому что открывать его было незачем.

Зубенко пришёл в понедельник, третьего августа, в четверть седьмого вечера.

Он пришёл один и пешком.

Ему было лет семьдесят пять. Невысокий, сухой, в сером костюме, при галстукe, в шляпе. В левой руке портфель, коричневый, потёртый по углам, из тех, с какими ходят в собес. Шёл он неторопливо, по проходу между рядами, и смотрел по сторонам с интересом человека, который давно тут не был.

В проходе в это время сидело человек двенадцать.

Первым его увидел Егорка Пряхин и не понял, что видит. Он потом говорил: «Ну дед и дед».

Вторым его увидел Комбат, который вышел из второго бокса с чайником, и Комбат чайник поставил на землю.

— Добрый вечер, товарищи, — сказал Зубенко.

Голос у него был обыкновенный. Негромкий, немного глуховатый, вежливый.

— Здесь нельзя, — сказал Комбат.

— Я знаю, — сказал Зубенко. — Я потому и пешком.

Он остановился посреди прохода, поставил портфель на землю и снял шляпу, потому что жарко.

— Меня зовут Михаил Петрович Зубенко. Я хотел бы поговорить с ответственным.

— Я ответственный.

— Дёмин Валерий Ильич?

— Он самый.

— Очень приятно. — Зубенко чуть наклонил голову. — Валерий Ильич, я к вам по одному вопросу, и вопрос неприятный, поэтому я начну сразу.

Он открыл портфель.

Дальше все, кто там был, рассказывали по-разному, и я собрал у семерых, и вот что сходится у всех.

Он достал серп.

Обыкновенный серп, какими жнут. Деревянная ручка, потемневшая от рук, лезвие короткое, с зазубринами по внутренней кромке, ржавое по обуху и вычищенное до блеска по

режущей стороне. Такие висели в каждом сарае в каждой деревне, и ничего в нём не было особенного, кроме того, что он лежал в портфеле у старика в костюме.

— Валерий Ильич, — сказал Зубенко. — У вас тут стоит вещь, которая мешает работать. Я вас прошу её убрать.

— Не уберу.

— Я так и думал.

Он повернулся и пошёл к седьмому боксу.

Толян потом рассказывал, что он тогда двинулся навстречу, и что ему показалось, будто он двинулся быстро, а на самом деле он даже с места не сошёл.

Комбат сказал одно слово:

— Стоять.

Все стояли.

Зубенко подошёл к воротам седьмого бокса. Ворота были железные, крашенные суриком, запёртые на висячий замок и на щеколду.

Он не стал их трогать.

Он поднял серп и провёл им по воздуху перед воротами — сверху вниз, коротко, как проводят мелом, когда отчёркивают.

И ворота разошлись.

Не упали и не разлетелись. По железу, сверху донизу, прошла линия, и по этой линии створки развело в стороны сантиметров на тридцать, ровно, без грохота, с одним только тихим скрипом, с каким расходится штора.

Внутри было темно. На полу стоял приваренный ящик.

Зубенко наклонился и провёл серпом по ящику.

Замок упал. Крышка отошла.

Он опустился на одно колено — медленно, придерживаясь за створку, потому что в семьдесят пять лет опускаются на колено медленно, — и вынул из ящика печать нейтралитета.

Она была большая, с чайное блюдце, тёмно-серая, с оттиском в виде круга и двух линий.

Он посмотрел на неё, повернул к свету.

— Сорок восьмой год, — сказал он. — Хорошая работа. Тогда умели.

И положил серп поперёк.

Печать разошлась пополам.

По ней прошёл шов, ровно посередине, и обе половины легли ему в ладонь. Никакого звука не было, и это все запомнили особо. Ни треска, ни хлопка. Вещь, которая была одна, стала две.

И в ту же секунду в проходе между гаражами включилось всё.

У Сани, стоявшей у второго бокса, дёрнулись пальцы, потому что расклад, который она держала наготове полторы минуты, вдруг получил ход. У Витьки с третьего станка вспыхнула ладонь. У кого-то в кармане пошёл жар. Двенадцать человек, полгода привыкших заходить сюда и выключаться, разом получили себя обратно, и это оказалось хуже, чем когда отключали.

— Не двигаться, — сказал Комбат.

Зубенко положил обе половины обратно в ящик, аккуратно, срезами вместе, и встал, отряхнув колено.

— Я вам её не ломал назло, Валерий Ильич, — сказал он. — Она мне мешала пройти, и я её убрал. Мне идти дальше, а с ней нельзя.

Он повернулся к пацанам.

— Товарищи, — сказал он. — Восстановите за час.

Толян потом спрашивал, что это было — издевательство или что. Профессор ответил, что это было хуже. Это была искренняя просьба: старик знал цену вещи и полагал, что если её сломали, её надо починить, и вслух посоветовал заняться делом.

Печать нейтралитета не восстанавливается никогда. Профессор проверял по справочнику базы.

— Второе, Валерий Ильич. Я разыскиваю бумаги гражданина Громова Петра Матвеевича. Они находятся у его семьи. Семье они не нужны и опасны для неё. Я готов заплатить, и заплатить хорошо.

— Их нет у семьи.

— Есть. — Зубенко сказал это спокойно. — Валерий Ильич, я не спорю с вами. Я вас уведомляю. Если бумаги будут переданы, никто на этом районе не пострадает, и я вам это обещаю, а слово моё вы можете проверить у любого, кто помнит.

— Я не помню.

— Вы молодой, — сказал Зубенко без всякой обиды.

Он закрыл портфель.

— И третье. Личное.

И он посмотрел прямо на Жеку.

Жека стоял у бетонного блока, шагах в двенадцати, и до этой секунды был уверен, что стоит незаметно.

— Семёнов Евгений Андреевич, — сказал Зубенко. — Подойдите, пожалуйста.

Жека подошёл.

Он подошёл, потому что не подойти было хуже, и потому что за спиной стояли двенадцать человек, и потому что ноги опять пошли раньше головы.

Вблизи Зубенко оказался ниже его на полголовы. От него пахло валидолом и чистой рубашкой.

— Про вас мне докладывали, — сказал Зубенко. — Я хотел посмотреть сам.

Он посмотрел. Смотрел он спокойно, снизу вверх, без нажима, и это длилось секунды три.

— Скажите, — сказал он. — Вам сколько было в мае девяносто первого года?

Жека молчал.

— Пятнадцать, — сказал Зубенко. — Третья очередь в комсомол. Ваша школа, сорок первая, перенесла её на сентябрь, а в сентябре переносить стало нечего. Я поднимал списки.

За спиной у Жеки стало очень тихо.

— Вас не приняли, — сказал Зубенко. — Это несправедливо, и я это говорю вам прямо. Вы были в списке. Список составлен, подписан секретарём школьного комитета и лежит в архиве райкома, и я его держал в руках две недели назад.

Он открыл портфель, вынул сложенный вчетверо лист и развернул.

Ксерокопия. Машинописный список, фамилии в столбик. Двадцать две фамилии. Пятнадцатая сверху — обведена карандашом.

Семёнов Е. А.

— Вы имеете полное право, — сказал Зубенко. — Стаж вам восстановят с мая девяносто первого. Это год и три месяца, молодой человек, и это уже кое-что. И вы перестанете стоять на асфальте с сигаретой во рту, как последний человек.

Жека смотрел на бумагу.

Я не знаю, что он в тот момент думал, и никто не знает, и он сам потом не смог объяснить. Он смотрел на неё довольно долго.

— Нет, — сказал он.

Зубенко кивнул.

Он сложил лист вчетверо по тем же сгибам и убрал в портфель.

— Хорошо, — сказал он. — Я оставлю его у себя. Он ваш, он никуда не денется.

Он надел шляпу.

— Всего доброго, товарищи. Седьмое ноября не за горами, и я бы очень хотел, чтобы к тому времени мы с вами уже обо всём договорились.

И пошёл обратно по проходу, между гаражами, мимо двенадцати человек, и никто из них не сдвинулся с места, хотя нейтралитета там уже не было.

Дошёл до угла и обернулся.

— Валерий Ильич, — сказал он. — Плечо не беспокоит?

Комбат не ответил.

— Погода меняется, — сказал Зубенко. — У меня тоже к дождю тянет.

И ушёл.

Глава 14. Учёт

Наутро район считал.

Считали все и по-своему. Баба Зина считала, во сколько обойдётся новая печать, и выходило у неё, что ни во сколько, потому что таких больше не делают. Мужики с элеватора считали, где теперь встречаться с Заводским. Дворничиха тётя Рая считала мусор и говорила, что за одну ночь у гаражей набралось больше, чем за неделю: люди нервничают и грызут.

Профессор считал в тетради.

Он собрал всех во вторник в подвале ЖЭКа, к шести, и на этот раз пришло не пять человек, а девятнадцать, и скамейка от остановки всех не вместила, и стояли вдоль стен.

Баба Зина сидела на своём месте с вязанием.

— Господа, — сказал Профессор. — Я подведу итог, а потом вы будете кричать.

Он написал на ДВП: **ПОТЕРИ**.

— Первое. Печать нейтралитета. Восстановлению не подлежит, я проверил по справочнику базы, там прямо сказано: при нарушении контура изделие списывается. Гаражей у нас больше нет. То есть боксы стоят, а место кончилось.

— Мы можем купить новую, — сказали от двери.

— Можем. Февральская стоила четыре двести. Сегодня она стоит, по прайсу базы, двадцать восемь тысяч, и на складе её нет, и заказ идёт четыре месяца.

Он поставил галочку.

— Второе. Толя.

Толян, сидевший в углу, поднял голову.

— След Идежности не снимается Фартот. Ни Саней, ни семками, ни временем. Я делал замеры четыре дня: полоса стабильна, Фартот вокруг неё проходит и не задерживается. — Профессор посмотрел на Толяна. — Анатолий, ты извини, что я про тебя вслух.

— Да ладно, — сказал Толян.

— Практический вывод для всех: каждый след, который вы от них получите, останется на вас навсегда. У нас нет способа их лечить. Планируйте исходя из этого.

Стало шумно, потом перестало.

— Третье, и это главное. — Профессор развернулся к доске. — Я четыре дня сводил учёт пропаж. Вот что получилось.

Он начертил столбик.

— Март: две. Апрель: пять. Май: девять. Июнь: четырнадцать. Июль: двадцать одна, и это только те, о которых я знаю, а знаю я далеко не про всё, потому что люди молчат.

— Почему молчат-то? — спросила женщина из третьего подъезда.

— Потому что стыдно, — сказала баба Зина, не отрываясь от вязания. — Купила от тараканов за девяносто рублей, а её украли. Кому такое расскажешь.

— Зинаида Павловна права, — сказал Профессор. — И на этом всё построено. Каждый думает, что обокрали лично его. А обокрали район.

Он подчеркнул столбик дважды.

— За пять месяцев с нашего района ушло минимум пятьдесят одна печать. И я не знаю, куда, и я не знаю зачем, и мне это не нравится сильнее всего остального, что я вам сказал.

Комбат стоял у входа, прислонившись к косяку, и молчал всё собрание.

Он сказал только под конец, когда уже начали расходиться:

— Тихомиров.

— Да?

— Пиши дальше. Всё пиши.

И вышел.

Профессор потом отметил в тетради, что Валерий Ильич за весь вечер не задал ни одного вопроса, и что человек, который не задаёт вопросов, обычно уже знает ответы.

Про Жеку район узнал в среду.

Узнал он, разумеется, через ковёр, потому что у гаражей в понедельник стояло двенадцать человек, а к среде их стало сорок, и каждый рассказывал так, как ему было удобнее.

Говорили следующее.

Первое: Семёнову предложили. Второе: Семёнов отказался. Третье: он был в списке, и это правда, потому что бумага была с печатью райкома, и её видели все.

Дальше мнения разошлись.

Половина двора считала, что он молодец. Эта половина была громкая, она собиралась у первого подъезда и говорила, что вот так и надо, и что нашего не купишь.

Вторая половина была тихая и говорила по кухням.

Она говорила примерно так: мальчику предложили год и три месяца стажа, а у мальчика мать на рынке стоит за семь процентов, и мальчик отказался, и очень интересно, за чей счёт он такой гордый.

Обе половины Жека слышал, потому что двор устроен так, что слышно всё.

Саня нашла его в среду вечером, там же, у забора.

Она пришла, встала над ним и минуты полторы молчала, и это было плохим признаком.

— Ты почему мне не сказал?

— Что не сказал?

— Что тебя в список внесли.

— Я сам не знал.

— Ты знал, что тебя не приняли. Ты знал это полтора года и молчал. — Она села на соседний блок. — Слышь, Семёнов. Ты полгода стоишь под лучами за людей, которые про тебя не знают элементарной вещи. Ты понимаешь, как это со стороны выглядит?

— Как?

— Как будто ты стыдишься.

Жека помолчал.

— Я стыжусь, — сказал он.

Саня открыла рот.

— Ты чего?

— Того. — Он смотрел в проём в заборе, на трубу. — Мне десять лет было. Я про галстук думал, как ты про свой адидас думала.

— Я про адидас не думала.

— Думала. Ты его в восемьдесят восьмом получила и в школу в нём ходила, тебе Лариса Пална замечание писала.

— Откуда ты...

— Двор, — сказал Жека.

Саня закрыла рот.

Они посидели.

— Ты правильно сделал, — сказала она наконец.

— Я знаю.

— Тогда чего сидишь?

— Считаю, — сказал Жека.

— Чего считаешь?

Он достал пачку и показал.

Одиннадцать.

— Пятьдесят пять минут, — сказал он. — Это всё, что у меня есть до конца лета. Если брать по одной в неделю — хватит до октября. Если так, как в июле, — до конца августа.

— Так купи ещё.

— На что?

Саня не ответила.

Она в тот момент, я думаю, впервые посчитала это вслед за ним и получила ту же цифру, и цифра ей не понравилась.

Про то, куда делись остальные, скажу отдельно: дальше эта арифметика будет решать всё. С двадцать седьмого июля на «Пятой линии» стояли каждый день, и Жека выходил через день, и каждый раз, когда с пустыря показывались серые рубашки, он прикуривал. Почти всегда зря: они смотрели и уходили. Двадцать шесть штук за девять дней, и ни одна не ушла на драку, потому что драк не было ни одной.

— Он сказал: седьмое ноября, — сказала она через минуту.

— Сказал.

— Это через три месяца.

— Через три месяца и четыре дня.

Саня встала.

— Ладно, — сказала она. — Значит, будем думать, где брать сиги.

И ушла.

Вот здесь заканчивается июль девяносто второго года и заканчивается та часть, в которой мы ещё думали, что у нас есть район.

Я вам скажу, чем всё это было на самом деле, потому что вы, наверное, уже поняли, а если не поняли, то вот.

Он не приходил драться. За пять месяцев Михаил Петрович Зубенко ни разу никого на нашем районе пальцем не тронул, и не тронет до самого ноября, и это чистая правда, которую потом было очень трудно объяснить приезжим.

Он приходил проверять.

Он проверил элеватор в апреле, проходную в мае, рынок в июне и гаражи в августе. Он смотрел, что на районе стоит, что держит и кто за это отвечает. Он снимал показания, как снимают показания счётчика: спокойно, по графику, раз в две недели.

А в конце июля, когда они уходили с «Пятой линии» через пустырь и уводили под руки свою горнистку, Егорка Пряхин увязался следом и прошёл за ними шагов сто.

Он шёл по бурьяну, отставая, и слышал, как четвёртый, с портфелем, сказал остальным одну фразу:

— Оно здесь, на этом районе. Мы просто ещё не нашли где.

Егорка это запомнил дословно и не сказал никому до сентября.

К сентябрю мы и сами до этого дошли, только с другого конца и на три месяца позже.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СКУПКА

Глава 15. Цепочка

Пятого августа Люба закрыла ларёк на два часа раньше и пришла в подвал ЖЭКа с пачкой накладных под мышкой.

Это было событие. Люба за полгода не закрывала ларёк ни разу, включая тот день в мае, когда у неё была температура и она сидела в окошке в двух кофтах.

В подвале уже сидели Профессор, Жека, Толян и Саня. Саня сидела на скамейке от остановки и всем видом показывала, что зашла случайно.

— Здравствуйте, — сказала Люба.

— Любовь, — сказал Профессор, вставая. — Я вас ждал с апреля.

— Меня никто не звал.

— Я это учту на будущее.

Он расчистил стол — стол у него был из двух ящиков и снятой двери — и Люба выложила накладные.

Дальше два часа было скучно, и я это опишу коротко, потому что скучное в тот вечер оказалось самым важным.

Профессор развесил на стене четыре листа ватмана, склеенных скотчем, и начертил таблицу. Слева месяцы, сверху две колонки: «куплено официально» и «пропало».

Люба диктовала по накладным. Профессор писал по своей тетради.

К девяти часам таблица выглядела так.

Март: куплено две, пропало две. Апрель: куплено одиннадцать, пропало пять. Май: куплено девять, пропало девять. Июнь: куплено шесть, пропало четырнадцать. Июль: куплено ноль, пропало двадцать одна.

— Итого, — сказал Профессор. — Куплено двадцать восемь. Пропала пятьдесят одна.

— И чего? — спросил Толян.

— И того, Анатолий, что это два разных человека.

Он взял красный карандаш и обвёл колонку с покупками.

— Смотрите. Вот эти двадцать восемь купил гражданин Суриков. По доверенностям, от организаций, официально, с подписью и корешком, оставив везде свою фамилию. Пришёл, расписался, ушёл. — Он поставил галочку. — Так работает человек, которому важно, чтобы его действия были законными.

Он обвёл вторую колонку синим.

— А вот эти пятьдесят одна ушли из квартир, из подвалов, из подъездов, из-под порогов. Их вынимали. Аккуратно. В подвале ЖЭКа кирпич по краям ниши цел, я смотрел с лупой. У Ковалёвых печать лежала под ванной, и её достали, не отодвинув ванну.

Он положил карандаш.

— Так не работает человек, которому важна законность. Так работает тот, кому важно, чтобы его вообще не заметили.

— Может, это один и тот же, — сказала Саня. — Днём по доверенности, ночью по форточкам.

— Может. Я это тоже думал. — Профессор снял очки. — Но есть даты.

Он ткнул в июнь и в июль.

— Суриков перестал покупать в конце июня. Совсем. А кражи в июле выросли в полтора раза. Если бы это был один человек, он бы просто перешёл на второй способ, и на графике был бы переход. А тут наложение: в июне он ещё покупает, и уже всю крадут.

— И что это значит? — спросил Жека.

— Это значит, что у нас на районе работают двое, — сказал Профессор. — И я почти уверен, что они друг про друга не знают.

Стало тихо. Наверху во дворе кто-то звал Серёжу домой, и звал уже в третий раз.

— Погоди, — сказала Саня. — Ты хочешь сказать, что «Заря» тут не одна?

— Я хочу сказать, что «Заря» тут скупала. Открыто, за деньги, по бумагам, с апреля по июнь. Двадцать восемь штук — это, между прочим, немало, это на сегодняшние деньги под миллион.

— У них есть миллион?

— У них есть райком, — сказала Люба. — Райком остался. Он на Первомайской, второй этаж, я туда накладные возила два раза.

Все посмотрели на неё.

— Что? — сказала Люба.

— Ничего, — сказал Профессор. — Продолжайте.

— Больше нечего. Здание общее, там ещё нотариус и обувная мастерская.

Профессор записал.

— Хорошо. Тогда вопрос второй, и он мне нравится ещё меньше. — Он повернулся к таблице. — Если Суриков покупал для «Зари», то зачем «Заря» покупала?

— Чтоб у нас не было, — сказал Толян.

— Логично, Анатолий, и неверно. Двадцать восемь бытовых печатей — это ничто. У нас на районе стоит, по моим прикидкам, штук четыреста. Скупив двадцать восемь, вы не оставите район без защиты, вы только потратите деньги.

— Тогда зачем?

— Затем, — сказал Профессор, — что они, по-видимому, что-то искали. Покупали подряд, всё, до чего дотягивались, и смотрели.

— И перестали в июне, — сказала Саня.

— И перестали в июне.

— Значит, нашли?

Профессор помолчал.

— Значит, поняли, что тут этого нет, — сказал он. — Или поняли, что искали не то. Или... — Он посмотрел на таблицу. — Или им сказали, что можно больше не искать.

Жека всё это время стоял у стены и молчал.

— Профессор, — сказал он.

— Да?

— А второй тогда кто?

— Второй, — сказал Профессор, — это как раз тот вопрос, из-за которого я не сплю.

Он подошёл к таблице и постучал по синей колонке.

— Второй берёт бытовуху. От тараканов, от сырости, от свекрови. Дешёвку. Он лезет за ней в квартиры, рискует и уносит вещи, которые в комиссионке стоят по девяносто рублей. Пятьдесят одна штука за пять месяцев — это, если по прайсу, тысяч восемь. Восемь тысяч, господа, за пять месяцев ночной работы.

— Мало, — сказал Толян.

— Стыдно мало, — согласился Профессор. — Ни один вор в здравом уме этим заниматься не будет. Значит, ему нужны не деньги.

— А что?

— А вот что ему нужно, я не знаю, и вот это меня и держит по ночам, — сказал Профессор.

Разошлись в одиннадцатом часу.

Жека пошёл провожать Любу, потому что ларёк был на Пятой линии, а Люба жила за рынком, и это было двадцать минут пешком мимо пустыря.

Шли молча. Люба вообще молчала легко — из тех людей, при которых молчание не давит.

На углу у бочки она сказала:

— Женя, я одну вещь не сказала при всех.

— Чего?

— Он приходил ещё раз.

Жека остановился.

— Суриков?

— Нет. Другой. — Люба перехватила сумку. — В июле, числа десятого. Пожилой. В костюме, в шляпе. С портфелем.

— Он что-то брал?

— Он ничего не брал. Он спросил, есть ли у меня книга учёта, я сказала есть. Он спросил, можно ли посмотреть. Я сказала — только при мне. Он сказал: разумеется.

— И?

— И он смотрел её сорок минут, — сказала Люба. — Стоял у окошка и листал. С самого февраля до июля, страницу за страницей. Потом закрыл, поблагодарил и сказал: «У вас образцовый порядок, я такого давно не видел».

— И ушёл?

— И ушёл. — Люба помолчала. — Женя, он не переписывал. У него ни ручки не было, ни бумаги. Он просто читал.

Они дошли до её дома. Дом был двухэтажный, барачного типа, из тех, что за рынком, с общей верандой.

— Люб, — сказал Жека. — Ты почему при всех не сказала?

Люба поставила сумку на ступеньку.

— Потому что Андрей Тихомиров написал бы это в тетрадь, — сказала она. — А потом эту тетрадь у него кто-нибудь возьмёт.

Жека посмотрел на неё.

— Ты думаешь, у нас кто-то из своих?

— Я ничего не думаю, — сказала Люба. — Я торгую печатями. Просто у меня в книге за пять месяцев записано, у кого на районе что стоит и где лежит. Всё, до последней штуки, с адресами. И эту книгу за июль читали дважды.

— Кто второй?

— Валерий Ильич, — сказала Люба. — Двадцатого числа. Он тоже не переписывал.

Она взяла сумку и пошла к двери.

— Спокойной ночи, Женя.

Жека шёл домой мимо пустыря и всю дорогу считал.

Он умел считать плохо и знал за собой это, поэтому считал медленно и по одному разу.

Получалось следующее.

Кто-то на районе с марта вынимает печати из чужих квартир, не задев кирпича, и делает это за смешные деньги. Про то, где эти печати лежат, знает одна тетрадь. Эту тетрадь за последний месяц читали двое: старик, который в апреле разрезал кожанку Комбата, и сам Комбат.

Двадцатого июля.

А второго августа, за день до того, как Зубенко пришёл к гаражам, Комбат сказал в своём боксе: «С марта у нас с района уходят печати».

С марта.

Жека остановился посреди пустыря и постоял.

Потом достал пачку, посмотрел на неё, не стал доставать сигарету и убрал обратно.

Одиннадцать.

Он никому не сказал про это ни в тот вечер, ни через неделю. Он таскал это в себе до сентября, и, если хотите знать моё мнение, это была самая тяжёлая ошибка, которую он сделал за то лето.

Хотя я, конечно, легко говорю. Я на лавке сидел.

Глава 16. Наружка

Наружку у Громовых поставили седьмого августа, и первым это заметила тётя Валя с первого этажа, которая в шесть утра вышла выбивать половик. Ни Саня, ни Комбат в то утро ничего не увидели.

Человек сидел на скамейке. Тот же или другой — в белой рубашке, при галстукке, ладони на коленях.

Тётя Валя выбила половик, посмотрела на него и спросила:

— Вы к кому, молодой человек?

— Я жду, — сказал он.

— Кого?

— Я подожду здесь, если можно.

Тётя Валя ушла и в течение сорока минут сообщила об этом восьми квартирам, и к обеду ковёр бабы Зины разнёс новость по всем пяти подъездам, включая тех, кому это было не нужно.

Дежурили они посменно, по восемь часов.

Профессор установил это к среде: в шесть утра приходил тот, что помоложе, в два дня его сменял второй, в десять вечера — третий, и третий сидел до утра. Смены были ровные, без опозданий, и это Профессора расстроило больше всего.

— Люди, которые не опаздывают на смену, — сказал он, — работают за зарплату.

Комбат распорядился так: пацанам к скамейке не подходить, Саню одну из дому не выпускать, дежурить у второго подъезда со стороны Жекиного окна.

— А чего мы просто их не прогоним? — спросил Толян.

— Прогоним — придут четверо, — сказал Комбат. — Прогоним четверых — придёт человек с серпом.

Пауза.

— И потом. Они ничего не делают. За «ничего не делает» у нас на районе бить не принято.

С девятого числа Жека дежурил по ночам.

Устроено это было так. Он сидел на подоконнике у себя на кухне, с выключенным светом, и смотрел на подъезд двадцать шестого дома, до которого было метров шестьдесят. Мать про это знала и не мешала, и один раз в час выходила на кухню и молча ставила ему кружку чая, и на этом их разговоры по ночам заканчивались.

Дежурство длилось с одиннадцати до пяти.

Шесть часов.

А пачка у него была одна, и в ней было одиннадцать штук, и все одиннадцать давали пятьдесят пять минут.

Вот эту арифметику Жека и обдумывал каждую ночь по шесть часов подряд, и, по-моему, за те дни он повзрослел сильнее, чем за всё остальное лето.

Считалось так. Если что-нибудь начнётся, ему бежать шестьдесят метров — это секунд двенадцать. Прикурить на бегу нельзя, спичка на бегу гаснет. Значит, прикуривать надо у подъезда, и это ещё десять секунд. Итого двадцать две секунды, и после этого у него ровно пять минут, за которые надо успеть всё.

Он засекал по будильнику. Двадцать две секунды выходили только если бежать вниз без шапки и без ключей, а внизу дверь подъезда открывалась внутрь и заедала.

С третьей ночи он стал спускаться заранее и сидеть на лавке у своего подъезда. На той самой, где обычно сажу я.

Мы с ним просидели там четыре ночи подряд, и за четыре ночи он сказал мне девять слов, из них шесть — «здрасьте» и «холодно сегодня».

На пятую ночь он встал и пошёл через двор.

Я его не остановил. Я потом об этом думал.

Ночная смена сидела на скамейке у двадцать шестого. Час был третий, во дворе горели два фонаря из шести, и один из них мигал.

Жека подошёл и сел на ту же скамейку. С другого края.

Человек повернул голову.

Ему было лет девятнадцать. Худой, стриженный, с той белой рубашкой, которая у них у всех была одинаковая, только у этого воротник был застиран до серого. На коленях лежал портфель, и в портфеле, судя по углам, лежал термос.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здорово, — сказал Жека.

Помолчали.

— Вы Семёнов, — сказал парень.

— Ага.

— Мне про вас говорили.

— Мне про вас тоже.

Помолчали ещё.

Жека сигарету не доставал. Это было нарушением всего, о чём договаривались, и он потом это признал.

— Слушай, — сказал он. — А вам сколько платят?

Парень посмотрел на свои колени.

— Восемь.

— Восемь тысяч?

— Восемь тысяч в месяц. Плюс проезд.

Жека посчитал. Мать за июль наторговала девять двести, и это был плохой месяц.

— За сидеть?

— За дежурство, — поправил парень. — И за учёбу. У нас два раза в неделю занятия, на Первомайской. Явка обязательная.

— Чему учат?

Парень подумал, стоит ли отвечать.

— Истории, — сказал он. — Ну и разное. Как держать строй, как отвечать на вопросы.

— И как отвечать на вопросы?

— Вот так, как я сейчас, — сказал парень.

Жека посмотрел на него.

Оказалось, что парень усмехается. Чуть-чуть, одной стороной, и сразу перестал.

— Ты давно у них?

— С апреля.

— А до апреля?

— А до апреля я в ПТУ учился, — сказал парень. — В шестнадцатом, на Заводском. Нас в марте распустили, потому что базовое предприятие встало. Восемьдесят человек. Я четыре месяца дома сидел.

— И чего?

— И ничего. Мать плачет, отец молчит. — Он поправил портфель на коленях. — А потом пришли и сказали: восемь тысяч, проезд, обед. И спросили, как меня зовут, и записали, и через неделю я получил значок.

Он расстегнул верхнюю пуговицу, и стало видно, что значок у него на цепочке под рубашкой, а не в петлице.

— Октябрёнок, — сказал он. — Первая ступень. Мне девятнадцать, я октябрёнок, потому что стажа ноль. Мелкие, которых вы видели, они выше меня.

— Обидно?

— Первый месяц было обидно, — сказал парень. — Потом привык. Там как в армии: считают по сроку, а годы никого не волнуют.

Мигающий фонарь мигнул четыре раза подряд и погас совсем.

— А вам зачем бумаги эти? — спросил Жека.

— Мне незачем. Мне сказано сидеть.

— А им?

— А им не докладывают.

Он открыл портфель, достал термос и налил в крышку.

— Будете?

— Не буду.

— Как хотите. — Он отпил. — Семёнов, я вам одну вещь скажу, а вы про неё думайте как хотите.

— Ну.

— Меня сюда поставили седьмого числа. И сказали: сидеть до особого распоряжения, в квартиру не заходить, ни с кем не разговаривать, ничего не предпринимать. — Он завинтил крышку. — Я сижу пятые сутки. Я ничего не предпринял. За что мне восемь тысяч платят?

Жека не ответил.

— Я вам скажу за что, — сказал парень. — За то, чтоб вы меня видели.

Он поставил термос обратно в портфель и застегнул его.

— Я тут вместо забора. Пока я тут сижу, вы все смотрите на меня. Вон, вы даже спать не ложитесь, у вас на кухне свет не горит четвёртую ночь, а на подоконнике силуэт. Я его каждую ночь вижу.

Он повернул голову и посмотрел Жеке в лицо.

— Я не знаю, что происходит в другом месте, — сказал он. — И вы не знаете. Но что-то же происходит, раз меня тут держат.

Он сказал это спокойно и без всякого злорадства, скорее с досадой человека, которому платят за бессмысленную работу.

Жека встал.

— Тебя как зовут?

Парень помолчал.

— А вот этого не надо, — сказал он. — Правда не надо.

И отвернулся к подъезду.

Жека вернулся к своему дому и сел на лавку рядом со мной.

— Слышали? — спросил он.

— Слышал, — сказал я.

Мы посидели.

— И чего он такой? — сказал Жека.

— Какой?

— Нормальный.

Я на это ничего не ответил, потому что ответа у меня не было ни тогда, ни сейчас.

Наутро он рассказал всё Профессору, и Профессор половину записал, а на второй половине бросил ручку.

— Мы смотрим не туда, — сказал он. — Восемь тысяч в месяц на человека, три смены, четвёртый месяц. Это только у одного подъезда. Это двадцать четыре тысячи в месяц за то, чтобы мы четверо не спали.

— И где надо смотреть?

Профессор поднял голову.

— Там, где у нас никто не дежурит, — сказал он.

В четверг вечером к гаражам прибежал Егорка Пряхин и сказал, что на «Ракете» вещи висят в воздухе, и что он сам видел, и что там таких мест несколько, и он может показать.

Ему сначала не поверили.

Глава 17. Ракета

Пошли в субботу, с утра, пятеро: Егорка впереди, за ним Жека, Толян, Саня и Профессор с рюкзаком.

В рюкзаке у Профессора лежали: рулетка, два кирпича, моток шпагата, будильник, тетрадь и бутылка воды. Он собирал его час и на все вопросы отвечал «увидите».

Идти было минут двадцать пять: мимо гаражей, через дыру в заборе, потом вдоль путей, потом по бурьяну.

Пустырь за ГРЭС у нас называли просто пустырьём, а его дальний конец, за насыпью, назывался «Ракета».

Там в апреле шестьдесят первого поставили площадку.

Двенадцатого числа полетел Гагарин, а к маю в Черноярске решили, что городу нужно место, и место сделали за три недели: залили бетонный круг метров сорока в поперечнике, обсадили по краю тополями и поставили посередине ракету.

Ракета была железная, четырёхметровая, из клёпаного листа, с иллюминаторами и лесенкой внутри. Красили её раз в два года серебрянкой, и последний раз покрасили в восемьдесят четвёртом.

Тополя выросли и одичали. Бетон потрескался, и в трещинах поднялась полынь в человеческий рост. Гулять туда перестали в семидесятых, когда рядом пустили золоотвал.

К девяносто второму году «Ракета» была ровно тем, чем бывают такие места: сорок метров битого бетона, ржавая железяка посередине и бурьян по пояс.

— Дальше тихо, — сказал Егорка на подходе. — И под ноги смотрите.

— Егор, — сказал Профессор, — я тебя очень прошу, объясни словами, что мы увидим.

— Не смогу.

— Попробуй.

— Не смогу, — повторил Егорка. — Вы сами посмотрите.

Они вышли из бурьяна на бетон.

Первое, что бросилось в глаза, — мусор.

Его было много и он был странный. Обычно на таких площадках валяются бутылки и битый шифер. А тут по бетону, ближе к центру, лежало вперемешку: обувь, три или четыре кастрюли, велосипедное колесо без спиц, детская коляска на боку, штук двадцать ложек, пружинный матрас, гвозди россыпью, крышки от банок, старый утюг, чугунная батарея на семь секций.

И всё это лежало не так, как лежит выброшенное.

Оно лежало так, как лежит высыпанное сверху.

— Оно из земли идёт, — сказал Егорка. — Оно тут годами закопанное было. А теперь всплывает.

Профессор снял рюкзак и сел на корточки.

— С какого числа?

— Не знаю. В июне первый раз пришёл, тут уже было.

Толян наклонился и поднял ложку. Ложка была алюминиевая, тёмная, с погнутым черенком, и на ней стояло клеймо.

— Общепит, — прочитал он. — Сорок девятый год.

Дальше пошли к центру.

Егорка вёл змейкой, обходя что-то, что видел он один, и Профессор сзади считал шаги и записывал.

— Стоп, — сказал Егорка.

Он поднял с бетона кусок кирпича и бросил вперёд, невысоко, метров на пять.

Кирпич пролетел, начал снижаться — и не долетел.

Он остановился в воздухе на высоте примерно по грудь и там остался.

Он перестал падать и повис, чуть поворачиваясь вокруг себя, как поворачивается щепка в стоячей воде. Никакой торжественности в этом не было.

Толян сказал:

— Ага.

Саня не сказала ничего.

Профессор сел прямо на бетон, там, где стоял.

— Так, — сказал он через полминуты. — Так. Хорошо. Хорошо.

— Чего хорошего? — спросила Саня.

— Ничего хорошего, я успокаиваю себя вслух.

Он открыл тетрадь и начал писать, и писал минуты три, не поднимая головы.

Потом встал, взял из рюкзака кирпич, шпагат и будильник.

Дальше он работал два часа, и вот что за эти два часа выяснилось.

Аномалия шла пятнами. Пятна были неправильной формы, размером от таза до комнаты, и лежали на бетоне не сплошняком, а вразброс, штук девять на всю площадку. Профессор обвязал кирпич шпагатом, обошёл круг и обозначил границы, отмечая их мелом, и получилась карта, похожая на карту материков в учебнике.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.